

Ammonio
Sulfate

Анатоль Франс. Рубашка.

То был молодой пастух, небрежно раскинувшийся в луговой траве и услаждавший свое одиночество игрой на свирели... У него силой отняли одежду, однако... (Пьер Ларусс, Большой словарь, статья «Рубашка», т. IV, стр. 5, столб. 4.)

Глава I

Король Христофор, его управление, образ жизни, болезнь

Христофор V был неплохим королем. Он в точности соблюдал законы представительного правления и никогда не противился воле палат. Эта покорность давалась ему довольно легко, ибо он заметил, что, в то время как для достижения власти имеется несколько способов, для сохранения ее не существует даже двух возможностей, как не существует двух видов обращения с нею; что его министры, каковы бы ни были их происхождение, принципы, мысли и чувства, все управляют одинаково и что, вопреки некоторому, чисто внешнему различию, они с успокоительной точностью повторяют друг друга. Вследствие этого он без колебания привлекал к делам всех, на кого ему указывали палаты, отдавая, однако, предпочтение революционерам, ибо они проявляют власть с большим рвением.

Сам он занимался преимущественно внешней политикой. Он часто совершал дипломатические поездки, обедал и охотился со своими кузенами-королями и хвалился, что он лучший министр иностранных дел, о котором только можно мечтать. В делах внутреннего управления он старался по мере возможности применяться к текущим невзгодам. Он не был ни особенно любим, ни особенно уважаем своим народом, и это обеспечивало ему драгоценное преимущество никогда не разочаровывать. Избавленный от бремени народной любви, он не боялся утратить популярность, что неизбежно для каждого, кто ею пользуется.

Королевство его было богато. Промышленность и торговля процветали, не выходя, однако, за пределы, могущие обеспокоить соседние народы. Состояние его финансов вызывало общее восхищение. Прочность его кредита казалась непоколебимой; коммерсанты говорили о ней с восторгом, с любовью, с глазами, влажным от слез умиления. Некоторая доля славы падала тут и на короля Христофора.

Крестьяне возлагали на него ответственность за плохие урожаи; но последние бывали редко. Плодородие почвы и терпение земледельцев обогащали страну плодами, хлебом, вином и стадами. Фабричные рабочие непрерывными и буйными требованиями пугали буржуазию, видевшую в короле своего защитника от социальной революции; сами же рабочие не могли его свергнуть, так как были слабы, да и не чувствовали к этому никакой склонности, не видя для себя пользы от его падения. Он не облегчал их участи, но и не ухудшал ее, с таким расчетом, чтобы они всегда были угрозой и никогда не были опасностью.

Этот монарх мог вполне положиться на свое войско: оно было проникнуто прекрасным духом. Войско всегда проникнуто прекрасным духом, ибо принимаются все меры к его сохранению; такова первая задача государства. Ведь достаточно войску утратить бодрость духа – и правительство будет немедленно свергнуто. Король Христофор покровительствовал религии.

По правде сказать, он не был особенно набожен и, чтобы не вступать в противоречие с верой, придерживался спасительного правила никогда не вникать в ее догматы. Он отстаивал обедню в дворцовой часовне и с полным уважением и благосклонностью относился к своим епископам, в числе которых было три-четыре ярых приверженца папы, постоянно наносивших королю оскорбления. Низость и раболепство его судей вызывали в нем непреодолимое отвращение. Он не постигал, как могут его подданные сносить столь несправедливое правосудие; но судьи искупали свою постыдную снисходительность к сильным беспощадной суровостью к слабым. Их строгость успокаивала расчетливые умы и обязывала к уважению.

Христофор V заметил, что его действия либо вовсе не приводят ни к каким результатам, либо приводят к результатам обратным тем, каких он ожидал. Поэтому он действовал мало. Ордена и всякого рода отличия были его лучшим орудием управления. Он наделял орденами своих противников, тем самым одновременно уничижая и удовлетворяя их.

Королева подарила ему трех сыновей. Она была безобразна, сварлива, скупа и скудоумна, но народ, знавший о том, что король относится к ней пренебрежительно и изменяет ей, осыпал ее похвалами и знаками уважения. Изведав множество женщин всех званий и состояний, король преимущественно придерживался общества г-жи де ла Пуль[1], близость с которой вошла у него в привычку. В женщинах его больше всего привлекала новизна, но новая женщина уже перестала быть для него новинкой, и однообразие перемен тяготило его. С досады он возвращался к г-же де ла Пуль, и то «уже виденное», что нагоняло на него тоску в женщинах, которых он видел впервые, значительно легче воспринималось им в старой подруге. Однако и она немало надоела ему. Случалось, что, выведенный из терпения ее пресным однообразием, он пытался несколько видоизменить ее, передевал ее то тиролькой, то андалуской, то капуцином, то драгунским капитаном, то монахиней, и все же ни на минуту не переставал возмущаться ее бесцветностью.

Его основным занятием была охота, наследственная функция королей и принцев, воспринятая ими от первобытных людей, – древняя необходимость, ставшая развлечением, – работа, которую великие мира сего обращают в удовольствие. Без работы нет и удовольствия. Христофор V охотился шесть дней в неделю.

Однажды он сказал в лесу своему обер-шталмейстеру Катрфею:

– Тяжелое занятие – травля!

– Зато после нее вам будет приятно отдохнуть, государь, – ответил шталмейстер.

– Раньше мне нравилось уставать и после этого отдыхать, Катрфей, – тяжело вздохнул король. – Теперь я не испытываю удовольствия ни от того, ни от другого. Во всяком занятии я чувствую пустоту безделья, а отдых утомляет меня, как изнурительный труд.

После девяти лет царствования без революций и войн, признанный наконец подданными за ловкого политика и возведенный в звание посредника между королями, Христофор V уже не ведал, что такое радость. Он погрузился в глубокое уныние и нередко говаривал:

– Черная пелена заслоняет от моих взоров мир, а под хрящами ребер я чувствую скалу, на которой водружается тоска.

Он терял сон и аппетит.

– Я уже не могу есть, – жаловался он г-ну де Катрфею, сидя за столом перед золоченым прибором. – Увы! Я жалею не о радостях вкусного стола – этими радостями я никогда не наслаждался, ведь они неведомы ни одному королю. У меня самый плохой стол во всем моем королевстве. Только люди простого звания хорошо едят; богатые держат поваров, а повара обворовывают и отравляют их. Лучшими поварами считаются те, которые больше

всех воруют и отравляют, а у меня, первые повара в Европе. Между тем я от природы лакомка и не хуже всякого другого сумел бы оценить по достоинству вкусный кусок, если бы мне это позволило мое положение.

Он жаловался на боль в пояснице и на тяжесть о желудке, чувствовал слабость, страдал одышкой и сердцебиениями. Отвратительные приливы горячей испарины подступали к его лицу.

– Я чувствую глухую, постоянную, ровную боль, входящую в привычку, а временами меня пронизывают молниеносные приступы потрясающей боли, – говорил он. – Отсюда – мое оцепенение, отсюда – моя смертельная тоска.

У него бывали головокружения; он страдал помрачением зрения, мигренями, судорогами, спазмами и прострелами, от которых не мог перевести дыхания.

Два лейб-медика, доктор Сомон и профессор Машелье, установили неврастению.

– Не отчетливо выраженное болезненное состояние! – сказал доктор Сомон. – Носологически [2] – недостаточно определившаяся сущность и именно поэтому трудно уловимая...

Профессор Машелье прервал его:

– Назовем лучше такую болезнь истым патологическим Протеом[3]; как Старец Морей, она под действием врачебного ухода беспрестанно видоизменяется, облекаясь в самые странные, самые грозные формы: то это ястреб желудочной язвы, то – змей воспаления почек; то она внезапно явит желтый лик разлития желчи, то обнаружит румяные щеки чахотки, то судорожно вцепится в горло страшной дланью удушительницы, вызывая мысль о перерождении сердца; она призрак всех болезней, угрожающих человеческому телу, пока она не поддастся воздействию медицины и, признав себя пораженной, не пустится в бегство, приняв свой истинный облик – обезьяны болезней.

Доктор Сомон был красив, изящен, обаятелен и любим дамами, в которых он любил самого себя. Элегантный ученый, великосветский врач, он умел находить аристократические начала даже в слепых кишках и брюшинах и строго считался с социальным различием, отделяющим одну женскую матку от другой. Профессор Машелье, маленький, толстый, короткий, вылепленный в виде горшка, безудержный говорун, был значительно большим фатом, чем его коллега Сомон. Притязания у него были те же, но ему было трудно их оправдать. Лейб-медики питали друг к другу взаимную ненависть. Но, заметив, что их встречные нападки только наносят им обоюдный ущерб, они поддерживали видимость искреннего согласия и полного единомыслия: не успевал один высказать ту или иную идею, как другой тотчас ее присваивал себе. При взаимном неуважении к способностям и талантам другого, они не боялись обмениваться мнениями, зная, что ничем не рискуют, ибо ничего не потеряют и не выиграют от этого обмена, раз эти мнения ограничены областью медицины. Болезнь короля сначала не внушала им опасений. Они рассчитывали, что за время лечения больной сам справится с болезнью и что это будет поставлено им в заслугу. Они единодушно предписали строго размеренную жизнь (*Quibus nervi dolent Venus inimica*)[4]: тонический режим, движения на свежем воздухе, умеренная гидротерапия. Сомон, с одобрения Машелье, предписал применение сернистых углеродов и хлористого метила; Машелье, с согласия Сомона, рекомендовал препараты опия, хлорал и бромистые составы.

Но протекло несколько месяцев, а в состоянии здоровья короля видимого улучшения все еще не было; в скором же времени страдания его обострились.

– Мне кажется, – сказал однажды Христофор V, возлежа в кресле, – мне кажется, что целый крысиный выводок грызет у меня внутренности, в то время как отвратительный карлик, подземный дух в красном колпаке, плаще и штанах, спустившись в мой желудок, врубается в

него мотыгой и глубоко вскапывает его.

– Государь, – сказал доктор Сомон, – это боль симпатическая.

– Но она мне крайне антипатична, – ответил король.

Профессор Машелье вмешался в разговор:

– Ни желудок, ни кишечник вашего величества не больны, государь, и если они все же причиняют вам боль, то это, как мы говорим, по симпатии с вашим солнечным сплетением; его бесчисленные, смешавшиеся и перепутавшиеся нервные разветвления, подобные добела раскаленным платиновым нитям, рвут во все концы кишечник и желудок вашего величества.

– Неврастения – истый патологический Протей... – начал было Машелье.

Но король отпустил их обоих.

– Государь, – сказал по их уходе начальник королевской канцелярии г-н де Сен-Сильвен, – посоветуйтесь с доктором Родриго.

– Да, государь, – подхватил г-н де Катрфей, – прикажите позвать доктора Родриго. Ничего другого не остается.

В ту пору доктор Родриго приводил в изумление весь мир. Его видели почти одновременно во всех странах земного шара. Он так много брал за визиты, что даже миллиардеры признавали его ценность. Что бы ни думали его собратья со всего света о его познаниях и его характере, они с уважением говорили об этом человеке, поднявшем докторский гонорар до еще не слыханной высоты; многие восхваляли его методы лечения, считая, что сами владеют ими и умеют применять их, хоть и за более умеренную плату; это сильно способствовало распространению его мировой славы. Но так как доктор Родриго не любил применять при лечении лабораторные препараты и аптекарскую продукцию и так как он никогда не придерживался установленных формул, его методы лечения озадачивали своей странностью и были неподражаемо оригинальны.

Господин де Сен-Сильвен никогда не пользовался услугами доктора Родриго и тем не менее питал к нему абсолютное доверие и веровал в него, как в бога.

Он стал умолять короля, чтобы тот повелел пригласить доктора-чудотворца. Но мольбы его были напрасны.

– Я привык иметь дело с Сомоном и Машелье, – сказал Христофор V, – я знаю их; мне известно, что они ни на что не способны, а на что способен Родриго, я не знаю.

Глава II

Лекарство доктора Родриго

Король никогда особенно не любил своих лейб-медиков. После же полугодовой болезни они стали ему совершенно невыносимы; стоило ему издали завидеть прекрасные усы, венчающие победоносную улыбку доктора Сомона, или пару черных пучков, приклеенных к голове Машелье, он тотчас же начинал скрежетать зубами и испуганно отворачивался. Однажды ночью он выбросил за окно их снадобья, пилюли и порошки, наполнявшие комнату приторным унылым запахом. Он не только совершенно перестал выполнять их

распоряжения, но даже всячески старался выворачивать наизнанку все, что они ему предписывали: он лежал враспяжку, когда рекомендовалось усиленное движение; суетился, когда был предписан полный покой; наедался, когда была назначена диета; воздерживался от пищи, когда доктора настаивали на усиленном питании, и выказывал столь необычную пылкость, что г-жа де ла Пуль просто не верила свидетельству своих чувств и думала, что грезит. И все-таки он не поправлялся, – так непреложна истина, что медицина – искусство обманчивое и что ее предписания, в каком бы смысле люди их ни воспринимали, всегда одинаково тщетны. От медицины королю не становилось хуже, но и не делалось лучше.

Многочисленные и разнообразные недуги не давали ему покоя. Он жаловался, что в мозгу у него расположился целый муравейник и что эта предприимчивая и воинственная колония роет там галереи, хоромы и склады, переносит туда провизию и материалы, кладет миллиарды яиц, вскармливает детей, выдерживает осады, ведет и отражает атаки и дает отчаянные сражения. Он уверял, будто слышит хруст тонкого, жесткого вражеского панциря, который перекусывают стальные челюсти победителя.

– Прикажете вызвать доктора Родриго, государь, – сказал г-н де Сен-Сильвен. – Он вас вылечит.

Но король пожал плечами и в минуту слабости и малодушия снова потребовал прописанные ему снадобья и возобновил диету. Он прекратил визиты к г-же де ла Пуль и начал старательно принимать пилюли азотнокислых солей аконитина, которые тогда только что входили в моду и переживали пору лучезарной молодости. Последствием этого лечения и воздержания явился такой припадок удушья, что язык высунулся у него изо рта, а глаза вылезли из орбит. Его постель ставили стоймя, как стенные часы, и его налитое кровью лицо выступало на ней в виде багрового циферблата.

– Бунт сердечного сплетения в полном разгаре, – промолвил профессор Машелье.

– Сильнейшее возбуждение, – подтвердил доктор Сомон.

Господин де Сен-Сильвен счел уместным снова напомнить о докторе Родриго, но король заявил, что не нуждается в лишнем враче.

– Государь, – возразил Сен-Сильвен, – доктор Родриго не врач.

– Вот как? – воскликнул Христофор V. – Ваши слова, господин де Сен-Сильвен, располагают меня в его пользу и вызывают в нем симпатию. Он не врач? Кто же он в таком случае?

– Государь, он – ученый, он – гений, открывший неслыханные свойства материи в состоянии излучения; он применяет эти свойства в медицине.

Но король голосом, не допускающим возражений, предложил секретарю никогда больше не напоминать ему об этом шарлатане.

– Ни за что, – сказал он, – ни за что я его не приму. Ни за что!

Христофор V провел лето довольно сносно. В обществе г-жи де ла Пуль, переодетой матросиком, он совершил морскую прогулку на яхте водоизмещением двести тонн. Он дал на ней завтрак одному президенту республики, одному королю и одному императору и в согласовании с ними обеспечил общий мир на земле. Это вершительство народных судеб нагоняло на него ужасную тоску, но он нашел в каюте г-жи де ла Пуль старенький роман во вкусе белошвеек и прочитал его с захватывающим интересом, подарившим ему на несколько часов восхитительное забвение окружающей действительности. Словом, если не считать мигреней, невралгических болей, ревматизма и отвращения к жизни, он чувствовал себя удовлетворительно. Осень вернула его к прежним пыткам. Он переносил ужасные муки

человека, который до пояса как бы обложен льдом, а выше поясницы охвачен пламенем. Но еще больший ужас и еще более дикий страх внушали ему совершенно необъяснимые ощущения и неопишуемые состояния. От некоторых из них, говорил он, волосы дыбом встанут у него на голове. Его терзало малокровие, слабость его возрастала с каждым днем, но страдания его не ослабевали.

– Сен-Сильвен, – сказал он однажды утром после скверно проведенной ночи, – вы несколько раз говорили мне о докторе Родриго. Распорядитесь, чтобы его вызвали.

Доктор Родриго в это время значился на мысе Доброй Надежды, в Мельбурне и Санкт-Петербурге. Тотчас же были посланы в этих направлениях каблогаммы и радиогаммы. Не прошло и недели, как король уже настойчиво требовал доктора Родриго. В последующие дни он поминутно справлялся: «Когда же наконец приедет доктор Родриго?» Королю почтительно докладывали, что его величество не такой пациент, которым можно пренебречь, и что Родриго путешествует с невероятной быстротой. Но ничего не могло успокоить нетерпеливого больного.

– Он не приедет, – вздыхал король. – Вот увидите, он не приедет!

Телеграмма из Генуи известила, что Родриго занял каюту на пароходе «Пруссия». Три дня спустя всемирно знаменитый доктор, предварительно нанеся своим коллегам Сомону и Машелье нагло-снисходительные визиты, явился во дворец.

Он был моложе и красивее доктора Сомона, с осанкой более гордой и благородной. Из уважения к природе, которой он во всем следовал, он носил длинные волосы и бороду и походил на тех древних философов, которых Греция увековечила в мраморных изваяниях.

Осмотрев короля, он сказал:

– Государь, врачи, рассуждающие о болезнях, как слепые о красках, утверждают, что у вас невращения или истощение нервной системы. Но если бы эти врачи и постигли сущность вашего недуга, они все равно не могли бы его излечить, ибо органическая ткань может быть восстановлена только теми же средствами, которые употребила природа при ее создании, а средств этих врачи не знают. Каковы же средства, каковы приемы, имеющиеся в распоряжении природы? Она не пользуется ни рукой, ни инструментом; она изощрена, она остроумна; для возведения своих самых мощных, самых грандиозных творений она использует мельчайшие частицы материи, атомы и протилы. Из неосязаемого тумана создает она глыбы скал, растения, металлы, животных и людей. Каким способом? С помощью притяжения, тяготения, испарения, проницаемости, всасывания, просачивания, капиллярности, сродства, взаимного влечения. И малую песчинку она создает не иначе, чем создала Млечный Путь: мировая гармония одинаково царит как в том, так и в другом; и то и другое существует только благодаря колебанию составляющих его частиц, и это колебание – их музыкальная, влюбленная и вечно волнующаяся душа. Нет никакой разницы в построении небесных светил и построении пылинок, которые пляшут в солнечном луче, пронизывающем эту комнату, и малейшая из этих пылинок не менее изумительна, чем Сириус, ибо основа чудесного всех тел во вселенной – это то бесконечное малое, из которого они образованы и которым они живут. Вот как работает природа. Из неуловимого, неосязаемого, невесомого она извлекла обширный мир, доступный восприятию наших чувств, взвешиваемый и измеряемый нашим рассудком; то, из чего она создала нас самих, – тоже меньше, чем дуновение. Будем же действовать, как она, при помощи невесомого, неосязаемого, неуловимого, через любовное притяжение и тончайшую проницаемость. Таков основной принцип. Как применить его к нашему случаю? Как снова вернуть жизнь истощенным нервам – вот что подлежит нашему рассмотрению. Но прежде всего что такое нервы? Если мы попросим кого-нибудь определить это понятие, то любой физиолог, да что я говорю, – даже какой-нибудь Машелье или Сомон, и те нам его дадут. Что такое нервы? Нити, волокна,

идущие от головного и спинного мозга и распределяющиеся по всем частям тела для передачи воспринятых извне раздражений и для воздействия на органы движения. В них, следовательно, заключены восприятие и движение. Этого совершенно достаточно, чтобы понять составляющую их основную сущность, чтобы выявить их природу: каким бы словом мы ни определили ее, она однородна с тем, что в мире ощущений мы называем радостью, а в мире нравственном – счастьем. Там, где найдется атом радости или счастья, – там же найдется и вещество – восстановитель нервов. А когда я говорю – атом радости, я имею в виду материальный предмет, совершенно определенное вещество, тело, способное принять все четыре состояния – твердое, жидкое, газообразное и излучаемое, – тело, атомный вес которого можно совершенно точно установить. Радость и печаль, которым от начала всех начал подчинены люди, животные и растения, имеют совершенно реальное содержание; они материальны, потому что они духовны, потому что природа едина в своих трех разновидностях: движении, материи, духе. Дело, таким образом, только за тем, чтобы получить достаточное количество атомов радости и с помощью просачивания и кожного всасывания ввести их в организм. Поэтому я прописываю вам носить рубашку счастливого человека.

– Как! – воскликнул король. – Вы хотите, чтобы я носил рубашку счастливого человека?

– На голом теле, государь! Чтобы ваша высохшая кожа втягивала в себя частицы счастья, выделенные потовыми железами счастливого человека через поры его благоденствующей кожи. Вам, конечно, известна работа, выполняемая кожей: она вдыхает и выдыхает, она производит непрерывный обмен с окружающей ее средой.

– Это и есть прописываемое мне лекарство, господин Родриго?

– Государь, это самое рациональное средство. Наука не дает мне ничего более подходящего, Незнакомые с природой, неспособные ей подражать, наши горе-аптекари изготавливают лишь самое ограниченное количество лекарств, и лекарства эти всегда опасны, но отнюдь не всегда полезны. Не умея изготавливать медикаменты, мы вынуждены брать их в готовом виде, например пивки, горный климат, морской воздух, минеральные воды, молоко ослицы, шкуру дикой кошки и испарину, проступившую на теле счастливого человека... Разве вы не знаете, что сырая картошка, если ее носить в кармане, успокаивает ревматические боли? Вам не нравятся натуральные лечебные средства; вам нужны лекарства искусственные или химические, разные снадобья; вам нужны капли и порошки; значит, порошки и капли принесли вам много пользы?..

Король извинился и обещал выполнить предписание.

Доктор Родриго, уже подойдя к двери, обернулся.

– Прикажите ее предварительно слегка подогреть, – сказал он.

Глава III

Гг. де Катрфей и де Сен-Сильвен ищут счастливого человека в королевском дворце

Спеша надеть на себя рубашку, сулящую излечение, Христофор V приказал позвать обер-шталмейстера г-на де Катрфея и начальника королевской канцелярии г-на де Сен-Сильвена и поручил им как можно скорее добыть требуемую рубашку. Было решено, что предмет своих поисков они сохранят в строжайшей тайне. Действительно, можно было опасаться, что стоит только публике узнать, какого рода лекарство требуется королю, как

множество несчастных и именно наиболее обездоленных и преследуемых всякими невзгодами, станет предлагать свои рубашки в надежде на получение награды. Опасались также, как бы анархисты не подослали рубашек отравленных.

Королевские приближенные решили, что им легко удастся добыть лечебное средство доктора Родриго, не выходя за пределы дворца, и поместились у круглого оконца, в которое были видны проходившие придворные. У всех, кого они видели, были вытянутые, изможденные лица; черты их отчетливо отражали страдания; всех их снедало желание получить назначение, орден, привилегию или чин. Но, спустившись в парадные залы, Катрфей и Сен-Сильвен увидели спящего в кресле г-на дю Бокажа. Уголки его рта были вздернуты до самых скул, ноздри широко раздуты, округлые щеки сияли точно два солнца, дыхание было гармонично, живот ритмически и безмятежно вздымался, улыбка сияла на лице; весь он – от лоснящейся макушки до веерообразно растопыренных пальцев на широко раздвинутых ногах, обутых в легкие туфли, – излучал радость.

– Нам нечего больше искать, – сказал Катрфей, пораженный этим зрелищем. – Как только он проснется, мы попросим у него рубашку.

Но тут спящий протер себе глаза, потянулся и уныло огляделся по сторонам. Углы его рта стали постепенно опускаться, щеки начали заметно опадать, а веки обвисли, как белье, развешанное в окне бедняка; из груди его вырвались жалобные вздохи, и все в нем уже выражало скуку, сожаление и разочарование.

Узнав начальника королевской канцелярии и обер-шталмейстера, он воскликнул:

– Ах, господа, я только что видел прекрасный сон! Мне снилось, будто король обратил мое бокажское поместье в маркизат. Увы, это только сон, и я отлично знаю, что у короля совершенно иные намерения.

– Пойдем дальше, – сказал Сен-Сильвен. – Уже поздно; нельзя терять времени.

Они встретились в галерее с одним из пэров королевства, удивлявшим людей силой своего характера и глубиной ума. Даже враги не могли ему отказать в бескорыстии, прямоте и мужестве. Было известно, что он пишет воспоминания, и каждый льстил ему, надеясь занять на страницах этих мемуаров достойное место в глазах потомства.

– Возможно, что он счастлив, – сказал Сен-Сильвен.

– Спросим его, – сказал Катрфей.

Они подошли к вельможе, обменялись несколькими словами и, наведя разговор на тему о счастье, задали ему интересовавший их вопрос.

– Меня не тешат ни богатства, ни почести, – ответил им пэр, – и даже самые законные и естественные привязанности, заботливое внимание семьи и радости дружбы не заполняют моего сердца. У меня только одна страсть – благо народа, и это самая несчастная из всех страстей, самый мучительный из всех видов любви. Я был у власти: я отказался поддержать ценою народных средств и ценою крови наших солдат военные затеи, предпринятые кучкой пиратов и торгашей ради их личного обогащения и грозившие стране разорением; я не принес ни нашего флота, ни армии в жертву поставщикам и пал под тяжестью клеветы всех этих мошенников, которые под гром рукоплесканий безмозглой толпы упрекали меня в том, будто я изменил священным заветам и славе моей родины. Никто не поддержал меня против этих разбойников высокого полета. Когда я вижу безграничную глупость и подлость народа, мне становится жаль монарха. Слабость короля приводит меня в отчаяние; убожество великих мира сего – зрелище, внушающее мне отвращение; неспособность и недобросовестность министров, невежество, низость и продажность народных

представителей и ошеломляют и бесят меня. Чтобы облегчить муки, испытываемые в течение дня, я по ночам занимаюсь их описанием и таким образом извергаю горечь, которой полнится мое сердце.

Катрфей и Сен-Сильвен отклонялись благородному пэру и, пройдя несколько шагов по галерее, очутились лицом к лицу с маленьким человечком, очевидно, горбатым, так как спина его возвышалась над головой. Человек жеманничал и принимал картинные позы.

– К этому нам бесполезно обращаться, – сказал Катрфей.

– Как знать, – промолвил Сен-Сильвен.

– Поверьте мне, я с ним хорошо знаком, – возразил шталмейстер, – я поверенный его сердечных тайн. Он доволен и преисполнен собой и имеет на то полное основание. Этот горбун – баловень женщин. Дамы придворные и дамы городские, дамы света и дамы полусвета, кокетки и актрисы, недотроги и ханжи, первые гордячки я красавицы – все у его ног. На их ублаговторение он тратит здоровье и жизнь и, став меланхоликом, несет на себе тяжелое бремя того самого счастья, которое он им доставляет.

Солнце садилось, и, так как стало известно, что король сегодня уже не выйдет, последние придворные стали покидать дворец.

– Я охотно отдал бы свою собственную рубашку, – сказал Катрфей. – Я смело могу утверждать, что у меня счастливая натура. Я всегда доволен, ем и пью с аппетитом, отменно сплю. Люди удивляются моему цветущему виду и находят приятным мое лицо, поэтому и на внешность свою я не жалуюсь. Но в мочевом пузыре я чувствую постоянную тяжесть и жар, и это портит мне жизнь. Сегодня утром из меня вышел камень величиной с голубиное яйцо. Боюсь, что моя рубашка не принесет пользы королю.

– Я бы охотно отдал ему свою, – сказал Сен-Сильвен, – но и у меня свой камень: жена. Я женился на самом безобразном и самом злющем создании, когда-либо существовавшем на свете, и хотя будущее, как известно, в руках божьих, я смело добавляю – на самом злющем и самом безобразном, которое когда-либо будет существовать, ибо повторное воспроизведение такого экземпляра столь мало вероятно, что его надо считать практически невозможным. На такую шутку природа два раза не решится...

И, отбросив эту тягостную тему, он воскликнул:

– Катрфей, друг мой, мы с вами действуем безрассудно. Не при дворе и не среди сильных мира сего следует нам искать счастливого человека!

– Вы рассуждаете, как философ, – возразил Катрфей, – вы выражаетесь языком босяка Жан-Жака[5]. Вы не правы. В королевских дворцах и в домах аристократов имеется столько же счастливых и достойных счастья людей, как в литературных кабачках и в харчевнях, где собираются чернорабочие. Нам только потому сегодня не удалось их найти под этими лепными потолками, что было уже поздно и что нам просто не повезло. Пойдемте к вечернему игорному столу королевы, и там мы, наверное, найдем то, что ищем.

– Искать счастливого человека возле игорного стола! – воскликнул Сен-Сильвен. – Это то же самое, что искать жемчужное ожерелье в поле, засаженном репой, или правдивое слово – на устах государственного мужа!.. Сегодня вечером бал у испанского посла, – там будет весь город. Отправимся на бал, и мы без труда снимем с кого-нибудь хорошую и вполне приличную рубашку.

– Мне не раз случалось снимать рубашку со счастливой женщины, – промолвил Катрфей. – Я делал это не без удовольствия. Но счастье бывало кратковременным. Я вам это рассказываю

вовсе не из хвастовства (право, тут хвастаться нечем) и не для того также, чтобы вызвать в памяти минувшие радости; они ведь могут еще повториться, ибо, вопреки тому, что гласит народная мудрость, всем возрастам свойственны одни и те же утехи. У меня совершенно иное намерение, гораздо более серьезное и благое, имеющее прямое отношение к возложенному на нас поручению; мне хочется поделиться с вами только что зародившейся у меня мыслью. Не думается ли вам, Сен-Сильвен, что, прописывая королю рубашку счастливого человека, доктор Родриго воспользовался термином «человек» в широком, родовом смысле этого слова, охватывающем все человечество и исключаящем понятие пола, и что он одинаково имел в виду как женскую, так и мужскую рубашку? Лично я склонен думать именно так, и, если ваша точка зрения совпадает с моей, мы могли бы значительно расширить границы наших поисков и более чем вдвое увеличить шансы на успех, потому что в таком изящном, цивилизованном обществе, как наше, женщины счастливее мужчин: мы для них делаем больше, чем они для нас. Расширив таким образом нашу задачу, мы могли бы, Сен-Сильвен, разделить ее между собой. Я, например, мог бы, начиная с сегодняшнего вечера и до завтрашнего утра, приступить к поискам счастливой женщины, в то время как вы стали бы искать счастливого мужчину. Согласитесь, друг мой, что женская рубашка – вещь весьма деликатная. Мне однажды довелось держать в руках рубашку, которая легко проходила через кольцо; она была из батиста тоньше паутины. А что скажете вы, мой друг, о рубашке, которую одна французская дама времен Марии-Антуанетты[6] проносила в продолжение всего бала в своей прическе? Мне кажется, что мы с вами заслужили бы благоволение короля, нашего повелителя, если бы поднесли ему тонкую батистовую рубашку с прошивками, кружевными воланами и славными розовыми лентами в виде бантиков на плечах, – рубашку легкую, как дыхание, и благоухающую ирисом и любовью.

Но Сен-Сильвен решительно восстал против такого толкования формулы доктора Родриго.

– Вдумались ли вы как следует в то, что говорите, Катрфей? – воскликнул он. – Женская рубашка доставила бы королю только женское счастье, которое сделало бы его несчастным и опозорило бы его. Я сейчас не буду, Катрфей, входить в обсуждение, кто более способен быть счастливым – мужчина или женщина. Ни место, ни время нам этого не позволяют: пора обедать. Физиологи наделяют женщину большей чувствительностью, нежели наша; но все это отвлеченные, общие места, скользкие по верху голов и никого не затрагивающие. Не знаю, в самом ли деле наше хорошо воспитанное общество создано скорее для женского, чем для мужского счастья, как вы это себе, по-видимому, представляете. По моим наблюдениям, в нашем кругу женщины не воспитывают детей, не ведут хозяйства, ничего не знают, ничего не делают и умирают от усталости. Блистая, они расходуют себя – это участь свечи. Не знаю, так ли уж она завидна. Но не в этом дело. Может быть, наступит день, когда будет только один пол; может быть, их будет три или даже больше. В таком случае половая мораль будет значительно богаче, сложнее и многообразней. Пока что у нас только два пола; в каждом из них имеется много от другого: много мужского в женщине и много женского в мужчине. Все же они отличаются друг от друга, и у каждого своя природа, свой нрав, свои законы, свои радости и печали. Если вы привьете нашему королю женское понятие о счастье, с каким равнодушием он будет тогда взирать на г-жу де ла Пуль!.. И, может быть, вследствие обурявшей его ипохондрии и слабости он в конце концов даже опорочит честь нашей славной родины. Не этого ли вы хотите, Катрфей? Обратите внимание, в картинной галерее королевского дворца на историю Геркулеса, вытканную на гобелене, и посмотрите, что случилось с этим героем, исключительно неудачливым по части рубашек[7]: надев из прихоти рубашку Омфалы, он с той поры только и знал, что прясть шерсть. Такова участь, которую ваша неосторожность готовят нашему славному монарху.

– Ну, будем считать, что я ничего не сказал, и прекратим этот разговор, – согласился обер-шталмейстер.

Иеронимо

Здание испанского посольства сверкало в темноте ночи. Отблески его огней золотили облака. Огненные гирлянды, окаймлявшие аллеи парка, придавали изумрудную прозрачность и блеск соседней листве. Бенгальские огни румянили небо поверх высоких темных деревьев. Легкий ветерок уносил сладострастные звуки невидимого оркестра. Нарядная толпа приглашенных заполняла открытую лужайку: фраки сновали в тени; военные мундиры сияли лентами и орденами; светлые контуры грациозно скользили по траве, влача за собой волны аромата.

Увидя двух влиятельных государственных мужей – председателя совета и его предшественника, – беседовавших у подножья статуи Фортуны, Катрфей решил было к ним подойти. Но Сен-Сильвен отговорил его.

– Оба они несчастны, – сказал он. – Один не может утешиться, что утратил власть, другой трепещет, как бы ее не утратить. И честолюбие их тем более достойно презрения, что и тот и другой в частной жизни более независимы и сильны, чем в высокой должности, которую они могут удержать лишь при условии унижительного и позорного подчинения прихотям палат, слепым народным страстям и корысти финансистов. То, чего они так горячо домогаются, не более как облаченное в пышные одежды унижение. Ах, Катрфей, довольствуйтесь своими псарями, лошадьми и собаками и не добивайтесь власти над людьми.

Они двинулись дальше. Едва успели они пройти несколько шагов, как были привлечены взрывом смеха, доносившегося из близлежащего боскета. Войдя в него, они под сенью ветвей увидели толстого, небрежно одетого человека, развлекавшего своей болтовней многочисленных слушателей, которые жадно ловили каждое слово, слетавшее с его губ, и не сводили глаз с его нечеловеческого лица, словно вымазанного винным отстоем и напоминавшего античного сатира. То был Иеронимо, самый знаменитый и единственный во всем королевстве популярный человек. Он говорил безудержно, весело, красно, не скупясь на остроты, нанизывал один на другой анекдоты, то занятные, то менее удачные, но всегда вызывавшие смех. Он рассказывал, что некогда в Афинах совершилась социальная революция, имущество было поделено и женщины поступили в общественную собственность, но что очень скоро некрасивые и старые начали жаловаться на общее пренебрежение и что в угоду им был издан закон, обязавший мужчин проходить через их объятия, прежде чем получить право на обладание молоденькими и хорошенькими; он с озорным смехом описывал комические супружества, забавные любовные сцены и испуг юношей при виде этих гноеглазых и сопливых любовниц, с носами и подбородками, словно созданными для того, чтобы раскалывать между ними орехи. Потом он принялся рассказывать множество сальных, непристойных анекдотов про немецких евреев, про попов, про крестьян – целый ворох потешных, увлекательных побасенок.

Иеронимо был изумительным оратором. Когда он начинал говорить, все в нем от ног и до головы говорило вместе с ним, и никогда еще изощренность речи ни у одного оратора не достигала такой полноты. То серьезный, то игривый, то величавый, то придурковатый, он владел всеми видами красноречия, и тот же человек, что здесь, под зеленым шатром, как истый комедиант, развлекал балагурством праздных слушателей и самого себя, накануне вызывал в палате депутатов своим могучим голосом неудержимые крики и рукоплескания, бросая в дрожь министров, ввергая в трепет публику на трибунах, и откликами своих речей будоражил всю страну. Ловкий в неистовстве и расчетливый в самых страстных порывах, он, не ссорясь с властью, возглавил оппозицию и, ведя работу в низах, вращался в среде аристократии. Его называли человеком своего времени. На самом же деле он был человеком своего часа: ум его всегда принаравливался к данному моменту и месту. Он думал всегда

«кстати»; его грубое, банальное дарование соответствовало банальности обывателей; его чудовищная посредственность сводила на нет все низкое и все высокое, окружавшее его: на виду оставался только он. Уже одно его здоровье должно было обеспечить его счастье; оно было так же прочно и так же несокрушимо, как и его душа. Большой мастер выпить, большой любитель всякого мяса как в виде жаркого, так и во всех прочих видах, он всегда пребывал в веселом настроении духа и забирал себе львиную долю земных благ. Слушая небылицы толстяка, Катрфей и Сен-Сильвен смеялись вместе с остальными и, подталкивая друг друга локтем, косились на его рубашку, обильно закапанную соусами и винами недавней веселой трапезы.

Посланник некоего заносчивого народа, торговавшийся с королем Христофором о цене его дружбы, в надменном одиночестве пересекал в это время лужайку. Он подошел к великому человеку и слегка ему поклонился. Иеронимо мгновенно преобразился: ясная и мягкая серьезность, величественное спокойствие разлились по его лицу, и приглушенные раскаты его голоса усладили ухо посланника благороднейшей ласковостью речи. Вся его поза выражала понимание внешней политики, духа конгрессов и конференций; все в нем, включая галстук веревочкой, топорщившуюся грудь рубашки и штаны, сшитые точно на слона, каким-то чудом сразу восприняло дипломатическое достоинство и посольскую внешность.

Приглашенные слегка отстранились, и две именитые особы долго и дружески беседовали, подчеркивая свою близость, которая привлекла внимание и вызвала многочисленные комментарии политиков и министерских дам.

– Иеронимо станет министром иностранных дел, стоит только ему этого захотеть, – говорил один.

– Как только он им станет, он засунет короля в карман, – молвил другой.

А австрийская посланница, наведя на него лорнет, проговорила:

– Молодой человек не без способностей, он далеко пойдет!

По окончании беседы Иеронимо прошелся по саду со своим верным, неразлучным Жобеленом, похожим на цаплю с совиной головой.

Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер последовали за ним.

– Его-то рубашка нам и нужна, – тихо сказал Катрфей. – Но отдаст ли он нам ее? Он социалист и борется с правительством короля.

– Ну так что же! Он человек не злой и не глупый, – возразил Сен-Сильвен. – Он не должен желать перемены, раз он в рядах оппозиции. На нем не лежит никакой ответственности, положение его прекрасно: он должен им дорожить. Хороший оппозиционер – всегда консерватор. Или я ничего в этом деле не смыслю, или этому демагогу было бы весьма неприятно чем-нибудь досадить своему королю. Надо только с умением взяться за дело, и рубашка будет в наших руках. Он поведет с королевским двором точно такую же игру, какую вел Мирабо[8]. Надо только, чтобы он был уверен в сохранении тайны.

Пока они вели этот разговор, Иеронимо, сдвинув шляпу набок и поигрывая тросточкой, прогуливался по саду и изливал свое веселое настроение в неприхотливых шутках, веселом смехе, балагурстве, выкриках, плохих островах, непристойных, грязных каламбурах и раскатистых руладах. Между тем шагах в пятнадцати впереди него шел законодатель мод и кумир молодежи герцог Онский; повстречавшись со знакомой дамой, он очень просто приветствовал ее коротким, сдержанным, но не лишенным грации жестом. Трибун окинул его внимательным взглядом я, сразу помрачнев я задумавшись, опустил увесистую руку на плечо своего голенастого друга.

– Жобелен, я отдал бы свою популярность и десять лет жизни за умение носить фрак и разговаривать с женщинами, как этот шалопай, – сказал он.

Вся веселость слетела с него. Он шел теперь, угрюмо понутив голову, и без всякого удовольствия разглядывал свою тень, которую насмешливая луна бросала ему в ноги в виде синего болванчика.

– Что он сказал?.. Он, конечно, пошутил? – с тревогой спросил Катрфей.

– Он был правдив и серьезен, как никогда, – ответил Сен-Сильвен. – Он обнажил перед нами язву, которая точит его. Иеронимо не может утешиться, что лишен аристократизма и элегантности, Нет, он не счастлив. За его рубашку я не дам и гроша.

Время уходило, и поиски не обещали быть легкими. Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер решили каждый самостоятельно продолжать изыскания и сговорились встретиться во время ужина в маленькой желтой гостиной, чтобы поделиться достигнутыми результатами. Катрфей опрашивал преимущественно военных, вельмож и крупных землевладельцев, не пренебрегая и опросом женщин. Более проникательный Сен-Сильвен пробовал читать в глазах финансистов и пытался прощупывать дипломатов.

Они встретились в назначенный час, усталые, с вытянутыми физиономиями.

– Я видел одних лишь счастливых, – сказал Катрфей, – но счастье у всех испорчено. Военные сохнут от желания получить крест, чин или добавочное содержание. Преимущества и почести, доставшиеся их соперникам, гложут им печень. Я видел, как одни стали желтее кокоса, а другие позеленели, словно ящерицы, узнав, что генерал де Тентий возведен в достоинство герцога Коморского. А один из них стал совсем багровым: его хватил апоплексический удар. Наши дворянедохнут в своих поместьях столько же от скуки, сколько и от хлопот; в вечных тяжбах с соседями, обираемые судейскими, они влачат свою гнетущую праздность среди забот.

– Я нашел не больше вашего, – сказал Сен-Сильвен. – А особенно удивляет меня противоположность причин и многообразие поводов, вызывающих человеческие страдания. Я видел князя Эстельского, страдающего от измены жены, но не потому, чтобы он ее сильно любил, а потому, что эта измена задевает его самолюбие; герцога Мовера я видел страдающим от того, что жена ему не изменяет и тем самым не дает ему возможности восстановить его расстроенное состояние. Этого одолевает избыток детей; того приводит в отчаяние их отсутствие. Я встретил горожан, мечтающих о жизни в деревне, и деревенских жителей, только о том и помышляющих, как бы обосноваться в городе. Я выслушал признания двух очень почтенных людей: один из них неутешен оттого, что убил на дуэли человека, отбившего у него любовницу; другой в отчаянии, что дал промах по своему сопернику.

– Я никогда не подумал бы, что столь трудно найти счастливого человека, – вздохнул Катрфей.

– А может быть, мы не так взялись за дело, – заметил Сен-Сильвен. – Мы ищем наугад, без всякой системы, мы даже как следует не знаем, чего ищем. Мы точно не определили, что такое счастье. Необходимо его определить.

– Мы понапрасну потеряли бы время, – ответил Катрфей.

– Простите, – возразил Сен-Сильвен, – когда мы его определим, то есть ограничим, уточним, закрепим во времени и пространстве, нам будет значительно легче.

– Не думаю, – сказал Катрфей.

Однако они все же решили посоветоваться по этому поводу с самым ученым человеком во всем королевстве, с директором королевской библиотеки г-ном Шодзэгом.

Солнце уже взошло, когда они вернулись во дворец. Христофор V провел скверную ночь и нетерпеливо требовал целительную рубашку. Они извинились за задержку и взобрались на четвертый этаж, где г-н Шодзэг принял их в обширном зале, содержащем в себе восемьсот тысяч печатных и рукописных томов.

Глава V

Королевская библиотека

Усадив их возле себя, библиотекарь широким жестом указал на множество книг, расставленных по четырем стенам, от пола и до самого потолка.

– Вы слышите? Слышите страшный шум, который они производят? У меня от него лопаются барабанные перепонки. Они говорят все зараз и на всех языках. Они спорят обо всем: о боге, о природе, о человеке, о времени, о числе и пространстве, о пожираемом и непознаваемом, о добре и зле, они все изучают, все оспаривают, все утверждают, все отрицают. Они умствуют и безумствуют, Среди них есть легкомысленные и серьезные, веселые и унылые, многоречивые и лаконичные; многие из них говорят для того, чтобы ничего не сказать, отсчитывают слоги и подбирают звуки на основе законов, происхождение и смысл которых им самим совершенно неизвестны: это наиболее самодовольные из всех. Имеются среди них и суровые, угрюмого склада, размышляющие только о предметах, окончательно лишенных всякой, осязаемости и изъяты из естественной среды; они бьются в пустом пространстве и волнуются в невидимых категориях небытия, и это – самые исступленные, кровожадные спорщики, с яростью отстаивающие свои положения и формулировки. Я уж не говорю о тех, кто пишет историю своего времени или предшествующих времен, ибо этим никто не верит. Всего их собрано здесь восемьсот тысяч душ, но не найдется и двух совершенно одинаково думающих о каком-нибудь предмете, и даже те, которые друг друга повторяют, не могут договориться между собой. Они обычно не знают ни того, что сами говорят, ни того, что сказано другими.

Господа, я сойду с ума, слушая этот всеобщий гомон, как уже сошли с ума все жившие до меня в этом многоголосом зале, за исключением тех, что вошли в него прирожденными идиотами, как, например, мой почтенный коллега господин Фруадефон, который сидит, как вы изволите видеть, против меня и с безмятежным усердием занимается каталогизированием. Он родился простым, и простым остался. Он весь был единым и не стал многообразным, ибо единство не может породить многообразия, и в этом, господа, – напоминаю мимоходом, – главное наше затруднение при поисках первопричины явлений: раз причина не может быть единой, она должна быть двойной, тройной, многообразной, а это мы допускаем с большим трудом. У господина Фруадефона простой ум и чистая душа. Он живет каталогически. Он знает названия и внешний вид всех книг, расставленных по этим стенам, и, следовательно, обладает единственным точным познанием, которое можно почерпнуть в любой библиотеке, а так как он ни разу не проникал в содержание книги, то уберется от вялой неуверенности, от стоустой лжи, от ужасов сомнения, от мук беспокойства – от всех чудовищ, которые чтением порождаются в плодovitом мозгу. Он спокоен и невозмутим, он счастлив.

– Он счастлив! – в один голос воскликнули искатели рубашки.

– Он счастлив, – подтвердил г-н Шодзэг, – но он об этом не знает. И возможно, что счастье доступно только при этом условии.

– Увы! – воскликнул Сен-Сильвен. – Жить, не зная, что живешь, – это все равно, что не жить; не зная, что ты счастлив, все равно, что не быть счастливым.

Но Катрфей, не слишком полагавшийся на отвлеченные умозаключения и во всех случаях жизни доверявший лишь непосредственному опыту, подошел к столу, за которым среди груды книг в переплетах из телячьей, бараньей и свиной кожи, из сафьяна, тонкого и толстого пергамента и дерева, среди книг, пахнущих пылью, плесенью, крысами и мышами, каталогизировал Фруадефон.

– Господин библиотекарь, – обратился к нему Катрфей, – не откажите в любезности ответить: вы счастливы?

– Книги под таким заглавием я не знаю, – ответил старый каталогизатор.

Безнадежно взмахнув руками, Катрфей вернулся на свое место.

– Представьте себе, господа, – промолвил Шодзэг, – что древняя Кибела[9] несет на своей цветущей груди господина Фруадефона и они описывают громадную орбиту вокруг солнца, а что солнце мчит господина Фруадефона вместе с землей и со всей ее свитой небесных светил через бездны пространства, к созвездию Геркулеса. Почему? Ни один из собранных вокруг нас восьмисот тысяч томов не может нам этого объяснить. Мы не знаем ни этого, ни всего остального. Господа, мы ничего не знаем. Причины нашего незнания многочисленны, но я убежден, что главная из них кроется в несовершенстве человеческой речи. Смутность наших понятий порождается туманностью слов. Если бы мы больше заботились об уточнении терминов, с помощью которых мы рассуждаем, наши мысли были бы отчетливой и уверенной.

– Что я вам говорил, Катрфей? – торжествующе воскликнул Сен-Сильвен.

И он обратился к библиотекарю:

– Ваши слова, господин Шодзэг, чрезвычайно меня радуют. И я теперь вижу, что, явившись к вам, мы избрали правильный путь. Мы пришли вас спросить, что такое счастье? Я задаю этот вопрос от имени его величества.

– Постараюсь ответить вам. Всякое слово должно определяться этимологически по его корню: вы меня спрашиваете, что мы разумеем под словом «счастье»? «Счастье» – bonheur, или «благополучие» – это благое предзнаменование, благое знамение, уловленное по полету и пению птиц, в противоположность «несчастью», или «злополучию» – malheur, означающему, как указывает на это само слово, злополучный опыт с птицами.

– Но как узнать, что человек в самом деле счастлив? – спросил Катрфей.

– Путем осмотра цыплят! – ответил библиотекарь. – Это вытекает из самого термина heur, который происходит от латинского augurium, что равняется avigurium[10].

– Осмотр священных цыплят не производится уже со времени римлян, – возразил обер-шталмейстер.

– Но разве счастливый человек не тот, которому благоприятствует судьба, и разве не существует внешних, видимых признаков удачи? – спросил Сен-Сильвен.

– Удача, – ответил Шодзэг, – это то, что хорошо выпадает, а неудача – то, что выпадает плохо; это – игральная кость. Если я вас правильно понял, господа, вы ищете счастливого, удачливого человека, то есть человека, относительно которого у птиц только одни добрые предзнаменования, человека, которому непрерывно везет в игре. Этого редкого смертного надо искать среди людей, заканчивающих жизненный путь, и предпочтительно среди уже

лежащих на смертном одре, словом, среди тех, кому больше уже не придется опрашивать священных цыплят или бросать игральные кости, – ибо только эти люди могут себя поздравить с неизменной удачей и постоянным счастьем...

Еще Софокл сказал в «Царе Эдипе»:

Счастливец никого до смерти не зовите [11]

Эти советы не понравились Катрфею, которому вовсе не улыбалась погоня за счастьем после соборования. Сен-Сильвена тоже не радовала перспектива стаскивать рубашку с умирающих; но так как ум у него был философского склада и не был чужд любознательности, он спросил библиотекаря, знает ли тот какого-нибудь славного старца, в последний раз выбросившего на стол искусно меченные кости.

Шодзэг покачал головой, встал, подошел к окошку и забарабанил по стеклу. Шел дождь; площадь была пустынна. В глубине ее возвышался великолепный дворец, увенчанный военными трофеями; на его фасаде Беллона[12] с гидрой на каске и в чешуйчатом панцире потрясала римским мечом.

– Ступайте в этот дворец, – сказал наконец он.

– Как? – воскликнул изумленный Сен-Сильвен. – К маршалу де Вольмару?

– Ну да! Кто же из смертных счастливее победителя при Эльбрусе и в Башкирии? Вольмар – один из величайших полководцев, когда-либо существовавших на свете, и самый удачливый из всех.

– Это знает весь мир, – сказал Катрфей.

– И никогда этого не забудет, – продолжал библиотекарь. – Маршал Пилон, герцог де Вольмар, появился в те времена, когда земная поверхность уже не была целиком охвачена пожаром народных войн, но он сумел выправить эту неблагодарность судьбы, бросаясь во всеоружии своей воинственности и гениальности во все концы земного шара, где вспыхивали войны. Он с двенадцатилетнего возраста служил в Турции и совершил Курдистанский поход. С той поры он пронес свое победоносное оружие по всему миру. Он с такой дерзкой легкостью четыре раза переходил через Рейн, что старая, обросшая камышами река – разделительница народов – почувствовала себя оскорбленной и униженной. Он еще искуснее, чем маршал Саксонский[13], защищал линию реки Лис; он перешел через Пиренеи, форсировал устье реки Тахо, раскрыл ворота Кавказа и поднялся вверх по Борисфену[14]. Он то защищал, то нападал на народы Европы и трижды спас свою родину.

Глава VI

Маршал герцог де Вольмар

Шодзэг велел принести описание походов герцога де Вольмара. Три библиотечных служителя сгибались под тяжестью этой ноши. Не было видно конца атласам, разложенным на столах.

– Вот, господа, Штирийский поход, Пфальцский, Караманийский, Кавказский и поход на Вислу. При помощи квадратов с хорошенькими флажками диспозиция и передвижение

войск на этих картах совершенно точно указаны и план сражения доведен до полного совершенства. Обычно эти планы составляются уже по исходе сражения, и от таланта великих полководцев зависит привести в стройную систему – к вящей их славе – все случайности, даруемые судьбой. Но у герцога де Вольмара все было всегда предусмотрено заранее.

Бросьте взгляд на эту десятимиллиметровую карту знаменитого Башкирского сражения, выигранного Вольмаром у турок. Здесь полнее, чем когда-либо, развернулся его тактический гений. Бой завязался с пяти часов утра; в четыре часа пополудни изнуренные полки Вольмара, израсходовав последние заряды, беспорядочно отступали; один, на подступе к мосту, переброшенному через Алуту[15], бесстрашный маршал, имея в каждой руке по пистолету, собственноручно расстреливал беглецов. Так руководил он отступлением, когда узнал, что безудержно, панически бегущие вражеские силы стремятся к Дунаю. Он мгновенно перестроил расположение своих войск, бросился в погоню за врагом и окончательно его уничтожил. Эта победа дала ему пятьсот тысяч франков дохода и раскрыла перед ним двери Академии.

Господа, вам вряд ли удастся найти человека более счастливого, чем победитель при Эльбрусе и в Башкирии. Он с неизменным успехом совершил четырнадцать походов, выиграл шестьдесят крупных сражений и трижды спас от окончательного разгрома признательное отечество. Величественный старец живет увенчанный славой и почестями, в богатстве и покое, уже давно превзойдя обычный срок человеческой жизни.

– Да, этот человек, без сомнения, счастлив, – сказал Катрфей. – Как по-вашему, Сен-Сильвен?

– Попросим у него аудиенцию, – ответил начальник королевской канцелярии.

Их ввели во дворец, и они прошли через вестибюль, где возвышалась конная статуя маршала.

На цоколе ее были начертаны следующие гордые слова: «Благодарной родине и восхищенному миру завещаю двух своих детищ – Эльбрус и Башкирию». Мраморные ступени парадной лестницы, расходящейся двумя полудугами, поднимались вдоль стен, украшенных воинскими доспехами и знаменами; на широкую площадку выходили двери с орнаментами в виде военных трофеев и пылающих гранат, увенчанные тремя золотыми венками, поднесенными спасителю отечества герцогу де Вольмару королем, парламентом и народом.

Застыв от избытка почтительности, Сен-Сильвен и Катрфей остановились перед закрытыми дверями; мысль о герое, отделенном от них только дверью, приковывала их к порогу, и они не смели предстать перед такой славой.

Сен-Сильвен вспомнил о медали, отчеканенной в память Эльбрусского сражения, на которой изображен маршал, венчающий голову крылатой Победы, при следующей великолепной надписи: «Victoria Caesarem et Napoleonem coronavit; major autem Volmarus coronat Victoriam» [16], – и прошептал:

– Как велик этот человек!

Катрфей схватился обеими руками за сердце, бившееся с такой силой, что готово было разорваться.

Не успели они прийти в себя, как услышали пронзительные крики, которые исходили, казалось, из глубины покоев и постепенно приближались к ним. То был женский визг, и он чередовался с шумом ударов, сопровождавшихся слабыми стонами. Вдруг обе створки двери резко распахнулись, и совсем маленький старичок, выброшенный пинком здоровенной

служанки, как кукла распластался на ступенях лестницы, покатился вниз головой и, весь разбитый, ушибленный, растрепанный, рухнул в вестибюле к ногам чопорных лакеев. Это был герцог де Вольмар. Лакеи подняли его. Косматая, полуодетая служанка горланила сверху:

– Да бросьте вы его! Этакую дрянь можно трогать только метлой!

И, потрясая бутылкой, продолжала вопить:

– Он вздумал отнимать у меня водочку! По какому такому праву? Ну и катись, старая рухлядь! Очень ты мне нужен, сволочь этакая!

Катрфей и Сен-Сильвен стремительно выбежали из дворца. Уже на площади Сен-Сильвен высказал мысль, что герою не слишком посчастливилось в его последней игре в кости...

– Катрфей, я вижу, что впал в ошибку, – добавил он, – я хотел подойти к делу со строгим, точным мериллом; я был неправ. Наука сбивает нас с толку. Вернемся к здравому смыслу. Только самый грубый эмпиризм дает нужное направление. Будем искать счастье, не пытаюсь его определять.

Катрфей разразился бесконечными упреками и бранью по адресу библиотекаря, обзывал его озорником. Особенно негодовал он на то, что вера его теперь окончательно погублена и что культ национального героя унижен и осквернен в его душе. Это очень огорчало его. Но страдания его были благородного свойства, а не подлежат сомнению, что благородные страдания содержат в себе облегчение и, так сказать, свою собственную награду. Они переносятся легче, спокойнее и с меньшим напряжением воли, чем страдания, порожденные себялюбием и корыстью. Было бы несправедливо желать иного положения вещей. Поэтому душа Катрфея в скором времени оказалась достаточно свободной, а ум его достаточно ясным, чтобы заметить, что капли дождя падают на его шелковую шляпу и что от этого она теряет блеск. Это вызвало у него тяжелый вздох:

– Еще одна пропавшая шляпа!

Он был когда-то военным и служил королю в качестве драгунского поручика. Вот почему он надумал следующее: отправился в издательство Генерального штаба, что на Военном плацу, на углу улицы Больших Конюшен, и купил там карту королевства и план столицы.

– Никогда не следует выступать в поход, не имея карты, – сказал он. – Беда только в том, что сам черт в ней не разберется! Вот наш город и его окрестности. С чего же нам начать? С севера или с юга, с востока или запада? Замечено, что все города разрастаются на запад. Может быть, это надо принять за указание, которым не следует пренебрегать? Возможно, что жители западных кварталов, защищенные от коварных восточных ветров, отличаются лучшим здоровьем, наделены более ровным правом и счастливее остальных. Или же лучше начать с прелестных холмов, что высятся по берегам реки, в десяти милях к югу от города? Здесь в это время года живут все наиболее состоятельные семьи. А что ни говорите, счастливца все-таки надо искать среди счастливых.

– Я не враг общества, Катрфей, и не противник общественного благоденствия, – ответил начальник королевской канцелярии. – Я буду с вами говорить о богатых, как честный человек и добрый гражданин. Богатые достойны глубокого уважения и любви; увеличивая свое собственное богатство, они содержат государство и, благотворя помимо своей воли, кормят множество людей, работающих для сохранения и приумножения их состояния. Ах, как прекрасно, как почтенно, как восхитительно частное богатство! Как должен его оберегать, поддерживать и окружать всевозможными льготами мудрый законодатель и как несправедливо, вероломно, бесчестно, как противно самым священным правам и законнейшим интересам, как пагубно для казны всякое притеснение частного богатства. Вера

в доброту богатых – общественный долг. Сладостно верить в их счастье! Идемте, Катрфей!

Глава VII

О зависимости между богатством и счастьем

Решив начать обход с наилучшего и богатейшего – с Жака Фельжин-Кобюра, которому принадлежат целые горы золота, алмазные россыпи и моря нефти, они долго брели вдоль стен его парка, заключавших в себе обширные луга, леса, фермы и деревни. Но едва подходили они к каким-нибудь воротам, как их отсылали к другим. Устав от этого непрерывного странствования взад и вперед, вправо и влево и заметив рабочего, который дробил камни на дороге, возле решетчатых ворот, украшенных гербами, они спросили его, не здесь ли следует пройти, чтобы попасть к г-ну Фельжин-Кобюру, которого они желали бы повидать.

Человек с трудом распрямил свою тощую спину и обратил к ним изможденное лицо, прикрытое сетчатыми очками.

– Жак Фельжин-Кобюр – это я, – сказал он.

Видя их изумление, он добавил:

– Я дроблю камни: это мое единственное развлечение.

И, снова согнувшись, он ударил молотом по булыжнику, расколовшемуся с сухим треском.

Они двинулись дальше, и Сен-Сильвен сказал:

– Он слишком богат. Он подавлен своим состоянием. Это несчастный человек.

После этого Катрфей намеревался отправиться к сопернику Жака Фельжин-Кобюра, королю железа Жозефу Машеро; его совсем новенький замок угрожающе щетинился на соседнем холме зубчатыми башнями и стенами, которые были испещрены бойницами и усеяны сторожевыми вышками. Но Сен-Сильвен отговорил его:

– Вы видели его портрет, – у этого человека жалкий вид. Мы знаем из газет, что он святоша, живет бедняком, проповедует евангелие ребятишкам и поет псалмы в церкви. Отправимся лучше к князю де Люзансу. Этот по крайней мере настоящий аристократ, умеющий пользоваться своим богатством. Он чужд деловой суеты и не бывает при дворе. Он садовод-любитель, и у него лучшая картинная галерея в королевстве.

О них доложили. Князь де Люзанс принял их в своем кабинете антиков, где можно было увидеть лучшую из греческих копий Афродиты Книдской, произведение истинно Праксителя резца[17], исполненное женственного очарования. Богиня казалась еще влажной от морской воды. В шкафчике из розового дерева, некогда принадлежавшем госпоже де Помпадур[18], хранились прекраснейшие образцы греческих и сицилийских золотых и серебряных медалей. Князь, тонкий знаток этого дела, сам составлял их описание. Его лупа еще лежала на витрине гемм – яшм, ониксов, халцедонов и сардониксов, – вмещавших на пространстве величиною с ноготь смело схваченные отдельные фигуры и великолепно скомпонованные группы. Он любовно взял со стола маленького бронзового фавна, чтобы гости полюбовались прелестью его очертаний и покрывавшей его патиной. И речь его была достойна шедевра, которому он давал пояснение.

– Я жду, – сказал он, – прибытия партии старинного серебра, чаш и кубков, превосходящих, по слухам, клады Гильдесгейма и Боско-Реале[19]. Я сгораю от нетерпения их увидеть. Господин де Келюс не знал большего наслаждения, чем распаковывание ящиков. Я его вполне понимаю.

Сен-Сильвен улыбнулся.

– Однако я слышал, дорогой князь, что вы сведущи и во всех прочих видах наслаждений.

– Вы мне льстите, господин де Сен-Сильвен. Но я полагаю, что искусство доставлять себе удовольствие – первое из всех искусств и что остальные ценны только тем, что содействуют ему.

Он провел гостей в картинную галерею, где дружно царили серебристые тона Веронезе, янтарь Тициана, красные отливы Рубенса, рыжеватые краски Рембрандта и серо-розовые оттенки Веласкеса, где красочные аккорды различных палитр сливались в единую победную гармонию. Скрипка, забытая в кресле, дремала перед портретом худой черноволосой дамы с желтовато-смуглым цветом лица и гладкой прической; на лице ее выделялись большие карие глаза. То был портрет незнакомки, по чьим очертаниям ласково прошла влюбленная и уверенная рука Энгра[20].

– Признаюсь вам в своей слабости, – сказал князь де Люзанс. – Иногда, оставшись один, я играю на скрипке перед этими картинами, и у меня создается иллюзия, что я перелагаю в звуки гармонию красок и линий. Перед этим портретом я пытаюсь передать смелую ласковость рисунка и в конце концов безнадежно опускаю смычок.

Одно из окон было обращено в парк. Князь и его гости вышли на балкон.

– Какой чудный вид! – воскликнули Катрфей и Сен-Сильвен.

Террасы, уставленные статуями, померанцевыми деревьями и вазами с цветами, спускались широкими отлогими ступенями к просторной лужайке, окаймленной грабовыми аллеями, и к фонтанам, брызжущим белыми струями воды из раковин тритонов и из урн со склонившимися над ними нимфами. Справа и слева целое море зелени простиралось спокойными волнами вплоть до далекой реки, которая извивалась серебристой нитью среди тополей, под грядою холмов, окутанных розовой дымкой.

Только что улыбавшийся князь теперь озабоченно всматривался в какую-то точку обширной и прекрасной панорамы.

– Труба!.. – пробормотал он изменившимся голосом, указывая пальцем на фабричную трубу, которая дымилась на расстоянии не менее двух километров от парка.

– Труба? Да ее совсем не видно, – сказал Катрфей.

– А я только ее и вижу, – ответил князь. – Она мне портит весь этот вид, она мне портит всю окружающую природу, она портит мне всю жизнь. И этому несчастью нечем помочь. Она принадлежит какому-то акционерному обществу, которое не желает ни за какие деньги продать фабрику. Я все испробовал, чтобы как-нибудь замаскировать трубу; из этого ничего не вышло. Я от нее болен.

И, вернувшись в залу, князь тяжело опустился в кресло.

– Нам следовало это предвидеть, – сказал Катрфей, усаживаясь в экипаж. – Он из породы утонченных: он несчастен.

Прежде чем приняться за дальнейшие поиски, они ненадолго присели в садике трактирчика,

расположенного на вершине горы, откуда были видны живописная долина и светлая извилистая река с овальными островками. Не падая духом от двух предыдущих неудач, они не теряли надежды найти счастливого миллиардера. Им оставалось посетить в этой местности еще с дюжину миллиардеров, и в числе их были г-н Блох и г-н Потике, барон Нишоль, крупнейший промышленник королевства, и маркиз де Грантом, едва ли не самый состоятельный из всех, принадлежащий к именитейшему, столь же славному, сколь и богатому роду.

За соседним столиком сидел за чашкой молока длинный худой человек, согбенный почти пополам и дряблый, как тюфяк; его белесоватые глаза сползли до самой середины щек, нос опустился на верхнюю губу. Человек этот казался убитым горем и скорбно рассматривал ноги Катрфея.

После двадцатиминутного созерцания он мрачно и решительно встал со своего места, подошел к обер-шталмейстеру и сказал, извинившись за назойливость:

– Разрешите, сударь, задать вам один вопрос, для меня крайне важный. Сколько вы платите за ботинки?

– Несмотря на странность вопроса, я не вижу основания, почему бы на него не ответить, – сказал Катрфей. – Я заплатил за эту пару шестьдесят пять франков.

Незнакомец долго рассматривал поочередно то свою ногу, то ногу собеседника и самым внимательным образом сравнивал оба башмака. Потом, весь бледный, взволнованно спросил:

– Вы сказали, что уплатили за эти башмаки шестьдесят пять франков. Вы твердо в этом уверены?

– Разумеется.

– Подумайте о том, что вы говорите, сударь!

– Однако вы презабавный башмачник! – проворчал Катрфей, начиная терять терпение.

– Я не башмачник, – с кроткой покорностью ответил незнакомец, – я маркиз де Грантом.

Катрфей поклонился.

– Я так и предчувствовал, – продолжал маркиз, – увы, я опять обворован! Вы платите за башмаки шестьдесят пять франков, а я – за совершенно такие же – девяносто. Дело не в цене, она не имеет для меня никакого значения, но мысль, что меня обворовывают, для меня совершенно невыносима. Я вижу, я чувствую вокруг себя одну только бесчестность, одно лицемерие, ложь и обман, и мне становится отвратительно мое богатство, совращающее всех, кто со мной соприкасается: слуг, управляющих поставщиков, соседей, друзей, женщин, детей, – и я из-за него всех их ненавижу и презираю. Мое положение ужасно. Я никогда не уверен в честности стоящего передо мной человека. И мне самому смертельно противно и стыдно принадлежать к человеческой породе.

И маркиз снова накинулся на чашку молока, горестно причитая:

– Шестьдесят пять франков! Шестьдесят пять франков!

В это время с дороги послышались жалобы и всхлипывания, и королевские посланные увидели плачущего старика, которого сопровождали два рослых ливрейных лакея.

Это зрелище привело их в волнение. Но трактирщик с видом полного безразличия пояснил

им:

– Не обращайтесь внимания. Это наш известный богач, барон Нишоль!.. Он сошел с ума, воображая, что разорился, и плачет об этом с утра до вечера.

– Барон Нишоль! – воскликнул Сен-Сильвен. – Еще один из числа тех, у кого вы хотели попросить рубашку, Катрфей!

Эта последняя встреча побудила их отказаться от дальнейших поисков целительной рубашки среди первых богачей королевства. Недовольные итогом поисков и опасаясь дурного приема во дворце, они принялись упрекать друг друга в допущенных ими оплошностях.

– И как вам могло прийти в голову, Катрфей, отправиться к этим людям с иною целью, чем изучение их уродств... Их нравы, мысли, чувства – все в них больное и ненормальное. Это просто чудовища.

– Как! Не вы ли мне говорили, Сен-Сильвен, что богатство – добродетель, что наша обязанность – верить в доброту богатых, что сладостно верить в их счастье? Но будьте осмотрительны – богатство богатству рознь. Когда знать беднеет, а всякий сброд начинает обогащаться, – это признак разрушения государства, это конец всему.

– Катрфей, мне очень неприятно вам это говорить, но вы не имеете ни малейшего представления о современном государственном устройстве. Вы не понимаете эпохи, в которой живете. Но ничего! Не пощупать ли нам сейчас золотую середину? Как вы думаете? Было бы, мне кажется, разумно побывать завтра на приеме у столичных дам как дворянских, так и буржуазных кругов. Мы вдоволь там наглядимся на разного рода людей, и мне кажется, лучше начать с дам из более скромной среды.

Глава VIII

В салонах столицы

Так они и поступили. Прежде всего они посетили салон г-жи Суп, жены макаронного фабриканта, фабрика которого находилась где-то на севере. Они застали супругов Суп крайне опечаленных тем, что они не вхожи в салон г-жи Эстерлен, жены владельца металлургического завода и члена парламента. Они отправились к г-же Эстерлен и застали ее, а равно и г-на Эстерлен, в глубоком огорчении от того, что они не вхожи в салон г-жи дю Коломбье, жены пэра королевства и бывшего министра юстиции. Они отправились к г-же дю Коломбье и застали пэра и его супругу в великом бешенстве из-за того, что им не удастся попасть в интимный круг королевы.

Визитеры, встреченные ими в этих столь различных домах, были не в меньшей степени опечалены, огорчены или взбешены. Их терзали болезни, сердечные невзгоды и денежные заботы. Имущие, опасаясь потерь, были еще несчастнее, чем неимущие. Безвестные хотели выдвинуться, известные – продвинуться еще дальше. Большинство было удручено работой, а те, кому было нечего делать, страдали от скуки, еще более удручающей, чем работа. Некоторые скорбели чужою скорбью, страдали страданиями любимой жены или любимого ребенка. Многие чахли от несуществующей, но предполагаемой болезни или от страха ею заболеть.

Незадолго до этого в столице вспыхнула эпидемия холеры, и некий финансист, по слухам, из боязни заразы и невозможности найти достаточно надежное убежище, покончил с собой.

– Хуже всего, что все эти люди, не довольствуясь действительными невзгодами, которые градом сыплются им на голову, еще окунаются в болото воображаемых невзгод, – говорил Катрфей.

– Воображаемых невзгод не существует, – отвечал Сен-Сильвен. – Все невзгоды реальны, раз мы их испытываем, и призрак страдания есть страдание действительное.

– И все-таки я бы очень хотел, чтобы камни, величиной с утиное яйцо, выходящие у меня вместе с мочой, были бы призраками, – возразил Катрфей.

И на этот раз Сен-Сильвену снова пришлось заметить, что люди часто огорчаются по самым разнообразным и даже противоположным поводам.

В салоне г-жи дю Коломбье он поочередно побеседовал с двумя высокообразованными, просвещенными и умными людьми, которые с помощью различных оборотов и изворотов, произвольно придаваемых собственным мыслям, поведали ему о тяжком нравственном недуге, снедающем их. Беспокойство и того и другого было связано с состоянием общественных дел, но поводы для беспокойства были диаметрально противоположные. Г-н Бром жил в непрестанной боязни какой-нибудь перемены. Пребывая в атмосфере устойчивости, благополучия и полного спокойствия, которыми наслаждалась страна, он опасался возмущений и страшился всеобщего переворота. Он не мог без трепета развернуть газеты; он каждое утро ожидал найти в них известия о волнениях и мятежах. При таком настроении духа самое незначительное событие и самое обыкновенное происшествие вырастали в его глазах в симптом революции, становились предвестником общего катаклизма. Всегда чувствуя себя накануне мировой катастрофы, он жил под гнетом вечного ужаса.

Господина де Сандрика мучило страдание совершенно иного порядка, более странное и более редкое. Покой докучал ему, нерушимость общественного порядка выводила его из терпения, мирное состояние казалось ему отвратительным, незыблемость человеческих и божеских законов наводила на него смертельную тоску. Он втайне призывал хоть какую-нибудь перемену и, притворяясь, будто боится катастроф, страстно желал их. Этот добрый, ласковый, приветливый и гуманный человек не представлял себе иных радостей, чем разгром его родной страны, земного шара, вселенной, и выискивал даже в мире планет наличие какого-нибудь столкновения или потрясения. Он бывал разочарован, подавлен, печален и хмур, когда язык прессы и внешний вид улиц свидетельствовал о невозмутимом спокойствии народа, – и тем острее страдал от этого, что, зная людей и обладая деловым опытом, прекрасно сознавал, как силен в народах дух консерватизма, традиций, подражательности и послушания и каким ровным и медленным темпом движется общественная жизнь.

На том же приеме у г-жи дю Коломбье Сен-Сильвен отметил другое печальное явление, еще более распространенное и более значительное.

В одном из уголков небольшой гостиной мирно и негромко беседовали председатель Гражданского суда де ла Галисоньер и директор Зоологического сада Ляри-дю-Мон.

– Признаюсь вам, мой друг, – говорил де ла Галисоньер, – мысль о смерти меня убивает. Я непрестанно думаю о ней, я смертельно ее боюсь. Страшит меня не сама смерть, – смерть это пустяки, – а то, что следует за ней, – будущая жизнь. Я верю в нее; я убежден, я уверен в своем бессмертии. Разум, инстинкт, наука, откровение – все говорит мне о существовании нетленной души, все мне доказывает, что сущность, происхождение и удел человеческий именно таковы, как изображает их церковь. Я христианин: я верю в вечные муки; страшная картина этих мук непрерывно преследует меня; ад меня пугает, и этот страх, превосходящий все остальные чувства, лишает меня надежды и всех душевных сил, необходимых для

спасения, – он ввергает меня в отчаяние, он сулит мне вечное осуждение, которого я так боюсь. Страх быть навеки проклятым – мое проклятие; ужас перед будущим адом – мой теперешний ад; и, еще живой, я уже заранее претерпеваю загробные муки. Нет пытки, подобной моей, а она с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом все мучительнее терзает меня, ибо каждый день, каждое мгновение приближают меня к тому, чего я так страшусь. Моя жизнь – это агония, полная ужаса и смертельной тоски.

Говоря это, председатель суда потрясал руками, точно хотел отмахнуться от неугасимого пламени, которое уже чувствовал вокруг себя.

– Я завидую вам, дорогой друг, – воскликнул г-н Лярив-дю-Мон. – В сравнении со мной вы счастливы; меня тоже терзает мысль о смерти, но как эта мысль не похожа на вашу и насколько она ужаснее! Моя научная работа, мои наблюдения, мои постоянные занятия сравнительной анатомией и тщательные исследования строения материи вполне убедили меня в том, что слова «душа», «разум», «бессмертие», «невещественность» обозначают только физические явления или отрицание этих явлений, что конец жизни является и концом нашего сознания, – словом, что смерть подводит окончательный итог нашему существованию. Нет слова, которое могло бы определить то, что следует за жизнью, ибо употребляемое нами для этого слово «небытие» – лишь знак отрицания, поставленный перед природой в целом. Небытие – это бесконечное «ничто», и это «ничто» объемлет нас. Мы из него выходим и возвращаемся в него; мы между двумя «ничто» – как скорлупка, плавающая в море. «Небытие» – это нечто невозможное, но очевидное, оно не постигается, но оно существует. Несчастье человека, – и несчастье его и преступление, – заключается в том, что он до всего этого додумался. Остальные животные этого не знают, и нам следовало бы тоже навсегда оставаться в неведении. Быть и перестать быть! Ужас этой мысли вздымает волосы на моей голове; мысль эта не покидает меня. То, что не будет, портит мне и уродует то, что есть, и небытие уже заранее сводит меня на нет. Отвратительная нелепость! Но я уже чувствую, я вижу, как небытие прикасается ко мне.

– Я более вашего достоин сожаления, – возразил г-н де ла Галисоньер. – Каждый раз, как вы произносите это коварное и восхитительное слово «небытие», сладость его, как подушка – больного, ласкает мою душу и нежит меня обещанием покоя и сна.

Но Лярив-дю-Мон с ним не согласился.

– Мои страдания мучительнее ваших, так как и рядовой человек примиряется с мыслью о вечном аде, а для того, чтобы быть неверующим, требуется недюжинная душевная сила. Религиозное воспитание и мистические настроения внушили вам страх перед человеческой жизнью и ненависть к ней. Вы не только христианин и католик, вы – янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль[21]. А я люблю жизнь, здешнюю, земную жизнь, такой, как она есть, жизнь со всей ее поганью. Я люблю ее, грубую, гнусную и топорную; я люблю ее, мерзкую, нечистоплотную и гнилую; я люблю ее, тупую, глупую и жестокую; я люблю ее во всей ее непристойности, во всем позоре, во всем безобразии, с ее скверной, с ее уродствами и зловонием, с ее развратом и ее заразой. Когда я чувствую, что она от меня ускользает, что она бежит от меня, я дрожу, как последний трус, я схожу с ума от отчаяния.

По воскресеньям и праздничным дням я спую по людным кварталам, вмешиваюсь в катящуюся по улицам толпу, ныряю в сборища мужчин, женщин и детей, теснящихся вокруг бродячих певцов или перед ярмарочными балаганами; я трусь о грязные юбки, о засаленные куртки, я упиваюсь острыми запахами пота, волос и дыханья. Мне представляется, что в этой жизненной сутолоке я дальше от смерти. Я слышу голос, говорящий мне: «Я одна тебя излечу от страха передо мной; ты устал от моих угроз – я одна тебя успокою». Но я не хочу! Не хочу!

– Увы, – вздохнул председатель суда, – если мы в этой жизни не вылечимся от болезней, терзающих наши души, то смерть не принесет нам покоя.

– А больше всего меня бесит, – продолжал ученый, – что, когда мы с вами оба умрем, у меня даже не будет удовлетворения вам сказать: «Вот видите, ла Галисоньер, я был прав – ничего нет». Я не смогу похвастаться перед вами своей правотой, а вы так никогда и не узнаете о своем заблуждении. Какую ценой достается нам мысль! Вы несчастны, друг мой, потому что ваша мысль шире и могучее мысли животных и большинства людей. А я несчастнее вас, потому что моя мысль вдохновеннее вашей.

Катрфей, уловивший обрывки этого разговора, не особенно ему удивился.

– Это все горести духа, – сказал он, – они, может быть, и мучительны, но мало распространены. Меня больше тревожат страдания обыденного характера – телесные недуги и уродства, сердечные невзгоды и безденежье: именно они затрудняют наши поиски.

– Кроме того, – заметил Сен-Сильвен, – эти два субъекта уж чересчур настойчиво добиваются от своих учений, чтобы они ввергли их в пучину несчастья. Если бы ла Галисоньер обратился к какому-нибудь доброму отцу иезуиту, тот очень скоро успокоил бы его, а Лярив-дю-Мону следовало бы знать, что можно быть безбожником, сохраняя безмятежность духа, как Лукреций, или наслаждаясь этим, как Андре Шенье[22]. Пусть почаще вспоминает стих Гомера: «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный», и пусть согласится примкнуть в один прекрасный день к своим учителям, философам древности, гуманистам Возрождения, современным ученым и многим другим «превосходнейшим смертным». «Умирают Парис и Елена», – говорит Франсуа Вийон[23]. «Все мы смертны», – говорит Цицерон. «Мы все умираем», – говорит женщина, чью мудрость восхваляет Священное писание во второй Книге Царств.

Глава IX

Счастье быть любимым

Они отправились обедать в королевский парк, элегантное место прогулок, являющееся в столице короля Христофора тем же самым, чем является в Париже Булонский лес, в Брюсселе – Камбра, в Лондоне – Гайд-Парк, в Берлине – Тиргартен, в Вене – Пратер, в Мадриде – Прадо, во Флоренции – Кашины, в Риме – Пинчо. Устроившись на свежем воздухе, среди блестящей толпы обедающих, они принялись блуждать взглядом по большим дамским шляпам, усаженным цветами и перьями, по этим передвижным шатрам наслаждения, колыхающимся приютам любви, голубятням, уготовленным для слета всех желаний.

– Я думаю, что предмет наших поисков находится здесь, – сказал Катрфей. – Мне, как и всякому человеку, случалось быть любимым. Сен-Сильвен, это – счастье! И я еще сейчас себя спрашиваю, не единственное ли это счастье, доступное людям? И хотя я таскаю в себе мочевой пузырь, в котором больше камней, чем в тележке, выезжающей из каменоломни, – бывают все-таки дни, когда я влюблен, словно мне двадцать лет.

– А я женоненавистник, – ответил Сен-Сильвен. – Я не могу простить женщинам, что они принадлежат к тому же полу, что и моя жена. Я знаю, что все они не так глупы, не так злы и не так уродливы, как она, но достаточно и того, что у них есть нечто общее с ней.

– Бросьте, Сен-Сильвен. Говорю вам: то, что мы с вами ищем, находится здесь, и нам стоит только протянуть руку, чтобы его получить.

И, указывая на чрезвычайно красивого мужчину, одиноко сидевшего за столиком, Катрфей добавил:

– Вы знаете Жака де Нависеля? Он нравится женщинам, он нравится каждой из них. Это и есть счастье – или я в нем ничего не смыслю!

Сен-Сильвен согласился проверить. Они предложили Жаку де Нависелю объединиться за одним столом и, обедая, запросто разговорились с ним. Путем долгих обходов и внезапных вылазок, атакуя его и с фронта и с флангов, прибегая то к намекам, то прямо в открытую, они раз двадцать осведомились, счастлив ли он, но так ничего и не добились от собеседника, изящная речь и обворожительное лицо которого не выражали ни радости, ни печали. Жак де Нависель охотно с ними беседовал и казался вполне откровенным и естественным; он даже пускался в признания, но последние только плотнее окутывали его тайну и усиливали ее непроницаемость. Конечно, он был любим. Но был ли он счастлив или несчастен от этой любви? После обеда, когда подали фрукты, королевские инквизиторы уже утратили надежду что-нибудь об этом узнать. Вконец обескураженные, они еще немного поговорили уже совсем впустую и кстати поговорили о самих себе: Сен-Сильвен – о своей жене, а Катрфей – о своем фундаментальном камне, предмете, сблизившем его с Монтенем[24]. За ликерами было рассказано немало разных анекдотов: про г-жу Берий, ускользнувшую из отдельного кабинета, перерядившись пирожником, с плетеной корзиной на голове; про генерала Дебоннера и баронессу Бильдерман; про министра Визира и г-жу Серес, подобно Антонию и Клеопатре растворивших в поцелуях целое царство,[25] – и много других старых и новых историй. Жак де Нависель рассказал восточную сказку.

– Некий молодой багдадский купец, – сказал он, – лежа однажды утром в постели, вдруг почувствовал себя страстно влюбленным и громкими возгласами высказал пожелание быть любимым всеми женщинами. Услышавший это джинн явился перед ним и сказал: «Твое желание отныне исполнено. Начиная с сегодняшнего дня ты будешь любим всеми женщинами. Обрадованный молодой купец тотчас же соскочил с постели и, в чайные разнообразные и неисчерпаемые удовольствия, вышел на улицу. Не успел он пройти несколько шагов, как отвратительная старуха, цедившая вино у себя в погребе, прониклась к нему пылкой любовью и стала посылать ему через люк воздушные поцелуи. Он гадливо от нее отвернулся, но старуха за ногу втащила его в погреб и продержала там взаперти в продолжение двадцати лет.

Жак де Нависель заканчивал эту сказку, когда подошедший метрдотель доложил ему, что его ожидают. Он встал и с поникшей головой и сумрачным взглядом направился к чугунным воротам парка, где его, в двухместной карете, поджидала особа довольно терпкого вида.

– Он нам рассказал собственную историю, – сказал Сен-Сильвен. – Молодой багдадский купец – это он сам.

Катрфей ударил себя по лбу.

– Мне же ведь говорили, что его стережет страшный дракон! Совсем про это забыл!

Они поздно возвратились во дворец, не имея при себе иной рубашки, кроме своих собственных, и застали короля Христофора и г-жу де ла Пуль льющими горячие слезы под звуки сонаты Моцарта.

От постоянного общения с королем г-жа де ла Пуль впала в меланхолию и предалась мрачным мыслям и нелепым страхам. Она воображала, что ее кто-то преследует, и считала себя жертвой ужаснейших козней: она жила в вечной боязни быть отравленной и заставляла своих горничных пробовать каждое кушанье, подаваемое к столу. Ужас перед смертью и жажда самоубийства преследовали ее. Душевное состояние этой дамы, с которой король делил плачевные дни, сильно ухудшало его собственное состояние.

– Художники – злосчастные виновники чудовищной напраслины, – говорил Христофор V. – Они наделяют плачущих женщин трогательной красотой и являют нашему взору украшенных слезами Андромых, Артемид, Магдалин и Элоиз[26]. У меня есть портрет Адриенны Лекуврер в роли Корнелии[27], орошающей слезами прах Помпея: она обворожительна. Но едва примется плакать госпожа де ла Пуль, как лицо ее перекашивается, нос краснеет и она становится такой безобразной, что можно испугаться.

Этот несчастный государь, живший только мечтой о целебной рубашке, разразился горячими упреками по адресу Катрфей и Сен-Сильвена за их нерадение, за неспособность и неудачливость, имея, вероятно, в виду, что хотя бы одно из этих трех обвинений окажется справедливым.

– Вы, как и мои доктора Машелье и Сомон, хотите меня уморить. Но для тех это естественно, это их ремесло, а от вас я все-таки ожидал иного. Я рассчитывал на вашу сообразительность и преданность. Я вижу, что ошибся. Вернуться с пустыми руками! И вам не стыдно? Неужели так трудно было исполнять возложенное на вас поручение? Разве так мудрено найти рубашку счастливого человека? Если вы не способны даже на это, на что же вы тогда вообще годитесь? Нет! Можно рассчитывать только на самого себя. Это верно относительно простых людей, а относительно королей в особенности. Я сейчас же сам отправлюсь на поиски рубашки, которую вы не сумели разыскать.

И, сбросив халат и ночной колпак, он потребовал, чтобы ему подали одеться.

Катрфей и Сен-Сильвен попытались его удержать:

– Государь, в вашем состоянии! Какая неосторожность!

– Государь, уже первый час!

– Вы, очевидно, полагаете, что счастливые люди ложатся спать вместе с курами? – сказал король. – Или в моей столице уже нет увеселительных мест? Нет в ней ночных ресторанов? Мой начальник полиции распорядился закрыть все ночные притоны, но разве они все-таки не открыты? Да мне и не придется рыскать по клубам. То, что мне требуется, я найду на улице, на скамейках бульваров.

Кое-как одевшись, Христофор V перешагнул через г-жу де ла Пуль, корчившуюся в конвульсиях на полу, стремглав скатился с лестницы и пронесся бегом через сад. Ошеломленные Катрфей и Сен-Сильвен молча следовали за ним в некотором отдалении.

Глава X

Не в самозабвении ли счастье?

Достигнув большой дороги, шедшей вдоль королевского парка и затененной старыми вязами, король заметил молодого, изумительно красивого человека, прислонившегося к дереву и с восторгом созерцавшего звезды, которые разукрасили безоблачное небо своими яркими и таинственными знаками. Легкий ветерок шевелил его вьющиеся волосы, отблеск небесных огней сверкал в его глазах.

«Я нашел!» – подумал король.

Он приблизился к улыбающемуся и столь удивительно прекрасному молодому человеку, и тот слегка вздрогнул при его приближении.

– Мне жаль прерывать ваши грезы, сударь, – сказал король, – но вопрос, с которым я хочу к вам обратиться, имеет для меня жизненное значение. Не откажите ответить человеку, который в свою очередь может оказаться вам полезным и сумеет вас должным образом отблагодарить. Сударь, вы счастливы?

– Да, я счастлив.

– Но, может быть, для полноты вашего счастья чего-нибудь недостает?

– Ничего. Конечно, так было не всегда. Я, как все, испытал отвращение к жизни и, может быть, испытал его значительно острее большинства людей. Это мучительное чувство не было следствием ни моего особого положения, ни каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, а исходило от причин, общих для всего человечества и всего, что дышит здесь, на земле. Я познал великую тревогу: теперь она окончательно рассеялась. Я вкушаю полный покой, сладостное ликование: все во мне – довольство, безмятежность и глубокое удовлетворение; неизреченная радость пронизывает все мое существо. Вы застаете меня, сударь, в прекраснейшее мгновение моей жизни, и раз судьба столкнула меня с вами, я призываю вас в свидетели своего счастья. Я наконец свободен, я наконец избавлен от страхов и ужасов, преследующих людей, от пожирающего их честолюбия, от их обманчивых, безумных надежд. Я выше всякой случайности, я ускользаю от двух непобедимых врагов человека – пространства и времени. Я могу пренебречь судьбой. Я владею безусловным счастьем и сливаюсь с божеством. И это блаженное состояние – мой собственное достижение; оно следствие принятого мною решения, до того разумного, благого, прекрасного, добродетельного и действенного, что выполнение его обожествляет меня...

Я купаюсь в радости, я восхитительно опьянен. Я совершенно сознательно и с полным пониманием произношу величественные слова, в которых выражены всяческие опьянения, восторги и очарования: «Я достиг самозабвения!»

Он взглянул на часы.

– Пора! Прощайте!

– Сударь, еще одно слово. Вы можете меня спасти... Я...

– Спасется только тот, кто последует моему примеру. Здесь мы должны расстаться. Прощайте!

И шагом героя, юношески бодрой походкой, незнакомец устремился в чащу леса, окаймлявшего дорогу. Не внимая его словам, Христофор последовал за ним, Пробираясь в чащу, он услышал звук выстрела, подался вперед, раздвинул ветви и увидел молодого счастливец, распростертого на траве, с виском, пробитым пулей, и револьвером, еще зажатым в правой руке.

От этого зрелища король упал в обморок. Подбежавшие Катрфей и Сен-Сильвен привели его в чувство и отнесли во дворец. Христофор навел справки о молодом человеке, который у него на глазах обрел безнадежное счастье. Он узнал, что то был наследник богатой и знатной семьи, что одаренность его равнялась его красоте и что судьба, неизменно благоприятствовала ему.

Глава XI

Сигизмунд Дукс

На следующий день, проходя пешком по улице Конституции в поисках целебной рубашки, Катрфей и Сен-Сильвен встретили выходящую из музыкального магазина графиню де Сесиль. Они проводили ее до экипажа.

– Господин де Катрфей, почему вас не было видно вчера в клинике профессора Кийбефа? И вас также, господин де Сен-Сильвен? Напрасно вы не пришли, было очень интересно. На пятичасовую операцию, прелестное удаление яичника, профессор Кийбеф пригласил элегантнейшее общество, целую толпу и в то же время только самых изысканных людей. Были цветы, красивые туалеты, музыка; подавали мороженое. Профессор был на редкость изящен и грациозен. Он велел сделать снимки для кинематографа.

Катрфей не был особенно удивлен этим описанием. Он знал, что профессор Кийбеф совершает операции в обстановке роскоши и удовольствия. Он попросил бы у него рубашку, если бы за несколько дней перед этим не застал прославленного профессора в неутешном горе из-за того, что ему не пришлось оперировать двух модных знаменитостей: германского императора, которому профессор Хильмахер только что вырезал кисту, и карлицу из Фоли-Бержер, которая проглотила сотню гвоздей, но не хотела, чтобы ей вскрывали желудок, а отпивалась касторкой.

Остановившись у витрины музыкального магазина, Сен-Сильвен предался созерцанию бюста Сигизмунда Дукса и громко воскликнул:

– Вот тот, кого мы ищем! Вот он – счастливый человек!

С бюста, очень похожего, глядели правильные и благородные черты, – одно из тех гармонических и полных лиц, которые напоминают земной шар. Хотя и облысевший и уже старый, великий композитор имел столь же обворожительный, сколь и величественный вид. Его голова округлялась наподобие церковного купола, но несколько грузный нос был посажен с любовной и отнюдь не духовной устойчивостью; подстриженная борода не скрывала мясистых губ и похотливого вакхического рта. Это было совершенно точное изображение гения, создававшего самые благочестивые оратории и самую страстную, самую чувственную оперную музыку.

– Как могли мы не вспомнить про Сигизмунда Дукса? – продолжал Сен-Сильвен. – Он с такой полнотой наслаждается своей славой, что сумел из нее извлечь все преимущества, и он ровно настолько безумен, что не чувствует стеснительности и скуки высокого положения. Как могли мы забыть о самом одухотворенном и чувственном из гениев, счастливом, как бог, спокойном, как животное, сочетающем в своих бесчисленных любовных похождениях изысканнейшую деликатность с самым грубым цинизмом?

– Да, – согласился Катрфей, – это богатый темперамент. Его рубашка может быть весьма полезна его величеству. Идемте же за ней.

Их ввели в зал, обширный и гулкий, как зал кафешантана. Орган, приподнятый на высоту трех ступеней, закрывал часть стены своим корпусом с бесчисленными трубами. Сигизмунд Дукс, в шапочке дожа[28] и в парчовой мантии на плечах, был занят импровизацией, и звуки, рождавшиеся из-под его пальцев, волновали души присутствующих и расплавляли их сердца. На трех ступенях, затянутых темно-красной материей, корчилось у его ног множество распростертых женщин. Иные роскошные, иные очаровательные – длинные, тонкие, гибкие, как змеи, или полные, с могучими формами, массивно-пышные, все одинаково прекрасные от любви и желания, все пламенные и разомлевшие. А в зале, составляя одну сплошную трепещущую толпу, колыхалось сборище молодых американок, финансистов-евреев, дипломатов, танцовщиц, певиц, католических, англиканских и буддийских священников, чернокожих принцев, фортепьянных настройщиков, газетных репортеров, лирических поэтов, театральных антрепренеров, фотографов, мужчин, переодетых женщинами, и женщин,

переодетых мужчинами, – сдавленных, перемешанных, сплюснутых в одно обожающее целое, поверх которого, забравшись на колонны, сидя верхом на канделябрах, подвесившись к люстрам, трепыхались молодые, юркие, благоговеющие поклонники. Вся эта толпа пребывала в упоении; это называлось закрытым утренним концертом.

Орган умолк. Туча женщин окутала маэстро; иногда он полувыступал из нее, как яркое небесное светило, потом снова окунался в нее. Он был ласков, кокетливо-вкрадчив, сладострастен и скользок. Любезный, в меру фатоватый, великий, как мир, и крошечный, как амурчик, он при каждой улыбке обнажал ряд младенческих зубов, скрытых за седой бородой, и говорил всем женщинам простые, изящные вещи, от которых они приходили в восторг, тут же забывая сказанное, – до того оно было легко: поэтому обаяние его слов, усиленное таинственностью, сохранялось во всей своей полноте. Так же приветлив и ласков был он и с мужчинами и, увидав Сен-Сильвена, трижды с ним облобызался и сказал ему, что горячо его любит. Начальник канцелярии не стал терять времени попусту: он от имени короля попросил у маэстро две минуты для секретного разговора и, объяснив в общих чертах, какое важное поручение возложено на него, сказал:

– Маэстро, дайте мне вашу руб...

Он тут же запнулся, видя, как внезапно исказились черты Сигизмунда Дукса.

Шарманка замолчала на улице польку «Жонкиль». И с первых же ее тактов лицо великого человека покрылось бледностью. Эта полька «Жонкиль», пользовавшаяся в тот год огромным успехом, была сочинена жалким, полуграмотным, бездарным трактирным скрипачом по фамилии Букен. А маэстро, увенчанный сорока годами славы и любви, не мог допустить, чтобы малая толика похвал перепала на долю Букена; он это принимал как нестерпимое оскорбление. Сам бог ведь ревнив и огорчается человеческой неблагодарностью. Стоило Сигизмунду Дуксу услышать несколько тактов польки «Жонкиль», и ему становилось дурно. Он резко покинул Сен-Сильвена, толпу обожателей и великолепное стадо разомлевших женщин, бросился к себе в уборную и извергнул полный таз желчи.

– Он достоин жалости, – вздохнул Сен-Сильвен.

И, потянув Катрфея за фалды, вышел из дома несчастного музыканта.

Глава XII

Является ли порок добродетелью?

Целых четырнадцать месяцев, с утра до вечера и с вечера до утра сновали они по городу и его окрестностям, безуспешно наблюдая, высматривая и опрашивая. Король, с каждым днем терявший силы и имевший теперь представление о трудности предпринятых розысков, приказал министру внутренних дел учредить чрезвычайную комиссию, возглавляемую господами Катрфеем, Шодзэгом, Сен-Сильвеном и Фруадефоном, и, снабдив эту комиссию неограниченными полномочиями, обязать ее приступить к тайному дознанию о счастливых людях, живущих в королевстве. Следуя указанию министра, начальник полиции предоставил в распоряжение членов комиссии своих наиболее расторопных агентов, и в скором времени счастливые люди стали разыскиваться в столице с таким же рвением и горячностью, как разыскиваются в других странах преступники и анархисты. Стоило только какому-нибудь гражданину прослыть счастливым, как о нем немедленно доносили, и он попадал под негласное наблюдение полиции. По два полицейских агента ночью и днем шаркали грузными, подбитыми железом башмаками под окнами всех лиц, заподозренных в благополучии. За

светским человеком, взявшим себе ложу в театр, тотчас же начинали присматривать. Владелец скаковой конюшни, у которого лошадь выигрывала приз, брался на заметку. Полицейский чиновник, сидевший в конторе каждого дома свиданий, отмечал посетителей. Вследствие сделанного господином начальником полиции наблюдения, что добродетель приносит людям счастье, все крупные благотворители, основатели богоугодных учреждений, щедрые жертвователи, покинутые и верные жены, граждане, отличившиеся самоотверженными поступками, герои и мученики – все были тоже переписаны и подвергнуты самому тщательному допросу.

Этот надзор тяготел над всем городом, но решительно никто не знал его причины. Катрфей и Сен-Сильвен никому не рассказывали о поисках благодетельной рубашки вследствие уже упомянутого опасения, как бы честолюбивые и корыстные люди, прикинувшись вполне благополучными, не подсунули королю рубашки, якобы счастливой, а на самом деле насквозь пропитанной горестями, печальями и заботами. Чрезвычайные меры, принятые полицией, вызывали тревогу среди высших классов общества, и в городе отмечалось некоторое брожение. Несколько весьма уважаемых дам оказались скомпрометированными, вследствие чего последовал ряд скандалов.

Комиссия собиралась каждое утро в королевской библиотеке под председательством г-на Катрфея, в соприсутствии государственных советников для особых поручений гг. Тру и Бонкаси. Она рассматривала в каждом заседании в среднем до полутора тысяч дел. Проработав в течение четырех месяцев, комиссия не уловила даже признака счастливого человека.

– Увы! – воскликнул г-н Бонкаси в ответ на сетования председателя Катрфея. – Пороки вызывают страдания, а у всех есть пороки.

– У меня их нет, – вздохнул г-н Шодзэг, – и это ввергает меня в отчаяние. Жизнь без пороков – сплошное томление, уныние и тоска. Порок – единственное развлечение, доступное нам в этом мире: порок расцветивает существование, это соль души, это искра ума. Да что я говорю, порок – единственное своеобразие, единственная творческая сила человека: это – попытка вооружить природу против природы, возвеличить царство человека над царством животных, дать место человеческому созиданию взамен созидания безыменного, выделить мир сознательный из всеобщей бессознательности. Порок – единственное достояние, действительно принадлежащее человеку, его естественное наследие, его истинное мужество и добродетель в буквальном смысле слова, ибо латинское «virtus» – доблесть, добродетель – производное от слова «vir» – человек, муж.

Я пробовал обзавестись пороками: из этого ничего не вышло; тут требуется особое дарование, особая природная склонность. Напускной порок – уже не порок.

– Пойдите! А что вы называете пороком? – спросил Катрфей.

– Я называю пороком привычное предрасположение к тому, что большинство людей признает за нечто ненормальное и дурное, то есть индивидуальную нравственность, индивидуальную силу, индивидуальную добродетель, красоту, мощь, дарование.

– Ну вот и прекрасно! – воскликнул советник Тру. – Главное – между собой договориться.

Но Сен-Сильвен стал горячо опровергать точку зрения библиотекаря.

– Не говорите о пороках, раз у вас их нет, – сказал он. – Вы не знаете, что это такое. У меня они есть, у меня их несколько. И я вас уверяю, что получаю от них значительно меньше удовлетворения, чем неприятностей. Нет ничего тягостнее порока. Волнуешься, горячишься, выбиваешься из сил, чтобы как-нибудь его удовлетворить, а как только он удовлетворен, испытываешь безграничное отвращение.

– Вы так не говорили бы, – возразил Шодзэг, – если бы у вас были красивые пороки, – благородные, гордые, властные, возвышенные, в самом деле доблестные. У вас же только маленькие, трусливые пороки, чванливые и смешные. Нет, сударь, вас никак не причислишь к великим хулителям богов.

Сначала Сен-Сильвен почувствовал себя обиженным такими словами, но библиотекарь доказал ему, что в них нет ничего оскорбительного. Сен-Сильвен милостиво с этим согласился и спокойно и твердо высказал следующее соображение:

– Увы, порок, как добродетель, и добродетель, как и порок, связаны с усилием, принуждением, борьбой, трудом, работой, истощением. Поэтому-то мы все и несчастны.

Но председатель Катрфей стал жаловаться, что у него скоро лопнет голова.

– Не будем вдаваться в рассуждения, господа, – сказал он, – мы к этому не приспособлены.

И закрыл заседание.

Из этой комиссии счастья вышло то же самое, что выходит из всех парламентских и внепарламентских комиссий, назначаемых во все времена и во всех государствах: она ничего не решила и, прозаседав пять лет, распалась, не приведя ни к каким результатам.

Король не поправлялся. Чтобы окончательно его доконать, невращения принимала, как Старец Морей, разные обличья – один ужаснее другого. Король жаловался, что все его органы блуждают, непрерывно передвигаются в его теле и переносятся на несвойственные им места: почка – в гортань, сердце – в икру, кишки – в нос, печень – в горло, мозг – в живот.

– Вы не можете себе представить, как тягостны эти ощущения и какую путаницу вносят они в мои мысли, – пояснил он.

– Государь, – отвечал Катрфей, – мне это тем легче понять, что в дни молодости живот мой нередко поднимался до самых мозгов, и нетрудно себе представить, какой оборот это придавало моим мыслям. Мои математические занятия немало от этого пострадали.

Чем хуже чувствовал себя Христофор, тем настойчивее требовал он прописанную ему рубашку.

Глава XIII

Кюре Митон

– Я снова начинаю думать, что мы только потому ничего не нашли, что плохо искали, – оказал Сен-Сильвен Катрфею. – Я решительно верю в добродетель и верю в счастье. Они неразделимы. Они редки и прячутся от нас. Мы их разыщем под скромными кровлями, в глуши деревень. Я, со своей стороны, стал бы их в первую очередь искать в той горной суровой местности, которую мы считаем нашей Савойей и нашим Тиролем.

В следующие дни недели они объездили шестьдесят горных деревень, не повстречав ни одного счастливого человека. Все бедствия, терзающие города, наблюдались и в этих деревушках, а грубость и невежество жителей придавали им еще большую остроту. Два главных бича, которыми располагает природа – голод и любовь, – обрушивались здесь на несчастные человеческие существа еще сильнее и чаще. Перед их глазами прошли хозяйева-скупцы, мужья-ревнивцы, жены-обманщицы, служанки-отравительницы,

работники-убийцы, отцы-кровосмесители и дети, опрокидывающие квашню на голову деда, задремавшего возле очага. Крестьяне находили удовольствие в одном только пьянстве; и даже радости их были грубы, игры их жестоки. Праздники заканчивались кровавыми драками.

Чем больше Катрфей и Сен-Сильвен наблюдали народ, тем больше убеждались они, что нравы его не могут быть ни лучше, ни чище, что скупая земля делает его скупым, что черствая жизнь вызывает в нем черствость и к чужим и к собственным страданиям и что завистливость, жадность, двоедушье, лживость и постоянный взаимный обман являются естественным следствием нищеты и невзгод.

– И как я только мог хоть на одно мгновение поверить, что счастье ютится под соломенной кровлей? – спрашивал себя Сен-Сильвен. – Это только может быть плодом полученного мною классического образования. В своей административной поэме, названной «Георгики», Вергилий говорит, что земледельцы были бы счастливы, если бы знали о своем счастье. Он, следовательно, признает, что они об этом счастье не знают. На самом же деле Вергилий писал по приказанию Августа, прекрасного управляющего государством, который беспокоился, как бы Рим не остался без хлеба, и поэтому всеми силами стремился как можно гуще заселить деревню. Вергилий знал не хуже всякого другого, что жизнь крестьянина тяжела. Гесиод обрисовал ее в ужасных картинах.

– Можно не сомневаться, что нет такой местности, где бы деревенские парни и девушки не лелеяли мечты устроиться в городе, – сказал Катрфей. – В приморских местностях девушки мечтают о поступлении на консервную фабрику. В каменноугольных районах у парней одно помышление: поскорее спуститься в шахту.

Был в тех горах один человек, выделявшийся среди озабоченных лбов и насупленных лиц своею простодушною улыбкой. Этот человек не умел ни обрабатывать землю, ни управляться со скотиной; он ничего не знал из того, что знают прочие люди, он вел бессмысленные разговоры и с утра до вечера распевал одну и ту же песенку, которую никогда не доводил до конца. Он всем восторгался. Он всегда был вне себя от радости. Его одежда была сшита из разноцветных, причудливо подобранных лоскутков. Ребятишки бегали за ним, преследуя его насмешками; но так как считалось, что он приносит счастье, ему не причиняли зла и подавали ему те пустяки, в которых он нуждался. Это был дурачок Юртепуа. Он кормился у подворотен заодно с собаками и ночевал в сараях.

Видя, что он счастлив, и полагая, что местные жители недаром почитают его носителем счастья, Сен-Сильвен, основательно поразмыслив, разыскал его, чтобы взять у него рубашку. Он застал его в горьких слезах, распростертым на церковной паперти. Юртепуа только что узнал о смерти Иисуса Христа, распятого ради спасения человечества.

Королевские чиновники, спустившись в деревню, где мэр был кабатчиком, пригласили его выпить с ними и спросили, не знает ли он счастливого человека.

– Господа, – ответил им мэр, – поезжайте вон в ту деревню, белые домики которой, прилепившиеся к склону горы, виднеются на той стороне долины, и зайдите к кюре Митону; он примет вас как нельзя лучше, и вы окажетесь в обществе счастливого человека, к тому же вполне достойного своего благополучия. Дорога займет у вас часа два.

Мэр предложил им внаймы лошадей, и после завтрака они тронулись в путь.

На первом перегоне их нагнал молодой человек, ехавший в одном направлении с ними верхом на лучшей, чем у них, лошади. У него было открытое лицо, веселый и довольный вид. Они разговорились.

Узнав, что они направляются к кюре Митону, молодой человек сказал:

– Передайте ему от меня поклон. Сам я еду несколько выше, в Сизере, где живу среди прекрасных пастбищ. Мне не терпится поскорее туда попасть.

Он рассказал, что женат на приятнейшей, лучшей в мире женщине, подарившей ему двух детей, красивых, как день, – мальчика и девочку.

– Я еду из нашего города, – весело продолжал он, – и везу с собой оттуда отличных материй на платья, с выкройками и модными картинками, по которым можно судить о готовых нарядах. Алиса (так зовут мою жену) не подозревает о приготовленных ей подарках. Я отдам ей покупки не развертывая и буду наслаждаться зрелищем, как ее быстрые пальчики станут нетерпеливо развязывать бечевку. До чего она будет рада! Она поднимет на меня восторженные, полные свежей ясности глаза и поцелует меня. Мы очень счастливы. За четыре года, что мы женаты, мы с каждым днем все сильнее любим друг друга. У нас самые сочные луга во всей окрестности. И рабочие наши тоже счастливы; они молодцы и косить и плясать. Приезжайте к нам, господа, как-нибудь в воскресенье: попробуете нашего белого винца и полюбуетесь, как танцуют наши ловкие девушки и сильные парни, которым ничего не стоит подхватить девушку и подбросить ее в воздух, как перышко. Наш дом – в получасе езды отсюда. Надо свернуть направо между вон теми двумя скалами, что видны в пятидесяти шагах впереди и известны под названием «Ноги серны». Надо миновать деревянный мост, переброшенный через горную речку, и пересечь сосновый лесок, оберегающий нас от северного ветра. Не пройдет и получаса, как я уже буду в кругу своей милой семьи, и мы все четверо порадуетесь нашему общему благополучию.

– Надо попросить у него рубашку, – прошептал Катрфей Сен-Сильвену, – я думаю, что она не уступит рубашке юре Митона.

– И я тоже так думаю, – отвечал Сен-Сильвен.

В то время как они обменивались этими словами, между скалами показался всадник, остановившийся перед путниками в сумрачном молчании.

– Что случилось, Ульрих? – спросил молодой человек, узнав в нем одного из своих арендаторов.

Ульрих ничего не ответил.

– Несчастье? Да говори же!

– Сударь, ваша супруга, спеша поскорее вас увидеть, решила отправиться вам навстречу. Мост провалился, и она утонула в потоке вместе с детьми.

Расставшись с обезумевшим от горя молодым горцем, они прибыли к юре Митону и были введены в комнату, одновременно служившую приемной и библиотекой. На полках из еловых досок стояло до тысячи томов разных книг, а на выбеленных известью стенах были развешаны гравюры с пейзажами Клода Лоррена и Пуссена.[29] Все здесь говорило о культурных и умственных запросах хозяина, мало обычных для дома сельского священника. У юре Митона, человека средних лет, было умное, доброе лицо.

Он расхвалил посетителям, якобы желающим поселиться в этой местности, климат, плодородие и красоту долины. Он угостил их белым хлебом, фруктами, сыром и молоком, после чего повел в очаровательный по свежести и чистоте огород. Шпалерные деревья с геометрической точностью простирали свои ветви по стене, обращенной к солнцу; безукоризненно правильные и богато увешанные плодами кроны фруктовых деревьев стояли на одинаковом друг от друга расстоянии.

– Вам никогда не бывает скучно, господин юре? – спросил Катрфей.

– Время между занятиями в библиотеке и саду кажется мне коротким, – ответил кюре. – Как бы спокойно и безмятежно ни протекала моя жизнь, она все же деятельна и трудолюбива. Я справляю службы, навещаю больных и неимущих, исповедую прихожан и прихожанок. У бедных созданий не слишком длинный перечень грехов; не жаловаться же мне на это? Но перечисляют они их подолгу. Мне нужно приберечь немного времени на подготовку к проповедям и урокам закона божьего: уроки даются мне особенно трудно, хотя я и веду их уже более двадцати лет. Так страшно говорить с детьми: они верят всему, что им ни скажешь. У меня имеются и часы развлечения. Я много гуляю. Прогулки у меня всегда те же, и вместе с тем они бесконечно разнообразны. Вид природы меняется с каждым временем года, с каждым днем, каждым часом, каждой минутой; он всегда различен, всегда нов. Я с приятностью провожу долгие осенние вечера в обществе старых друзей – аптекаря, сборщика податей и мирового судьи. Мы музицируем. Моя служанка Морина замечательно жарит каштаны; мы лакомимся ими. Что может быть вкуснее каштанов со стаканом белого вина?

– Сударь, – обратился Катрфей к славному кюре, – мы на службе у его величества. Мы надеемся услышать от вас признание, имеющее огромное значение и для нашей страны и для всего мира. От этого зависит здоровье, а может быть и жизнь, нашего монарха. Вот почему мы просим простить нас за вопрос и, не считаясь с его необычностью и нескромностью, ответить на него совершенно откровенно и без всяких недомолвок. Вы счастливы, господин кюре?

Господин Митон взял Катрфею за руку, крепко ее сжал и едва слышно проговорил:

– Моя жизнь – сплошная пытка. Я живу в непрерывном обмане. Я не верую.

И две слезы скатились по его щекам.

Глава XIV и последняя

Счастливым человеком

Понапрасну изъездив в течение целого года все королевство, Катрфей и Сен-Сильвен прибыли в замок Фонбланд, куда король приказал себя доставить, чтобы подышать свежим лесным воздухом. Они застали его в подавленном состоянии, приводившем в отчаяние двор.

Никто из приглашенных не жил в этом замке, бывшем не более как охотничьим домом. Начальник королевской канцелярии и обер-штальмейстер поселились в деревне и, пользуясь лесной тропинкой, ежедневно являлись к государю. На пути им часто попадался маленький человечек, живший в лесу, в дупле большого платана. Его звали Муском. Плоское лицо, выступающие скулы и широкий нос с совершенно круглыми отверстиями ноздрей отнюдь не красили его. Но квадратные зубы, сверкавшие между красными губами, которые часто раскрывались от смеха, придавали красочность и приятность его дикому лицу. Никто не знал, как ему удалось завладеть большим дуплистым платаном, но он устроил себе в нем чистенькую комнатку, снабженную всем необходимым. По правде сказать, ему нужно было немного. Он жил лесом и прудом, и жил совсем не плохо. Неопределенность положения прощалась ему благодаря его услужливости и умению угодить людям. Когда дамы из замка катались в экипажах по лесу, он подносил им в собственноручно сплетенных ивовых корзинах сотовый мед, землянику и горько-сладкие ягоды дикой вишни. Он всегда охотно подпирал плечом увязшую телегу и помогал убирать сено, когда угрожала непогода. Нисколько от этого не уставая, он делал больше всякого другого. Сила и проворство были у него недюжинные. Он ломал голыми руками челюсти волку, ловил на бегу зайца и лазил по деревьям, как кошка.

Он мастерил для забавы детей тростниковые дудочки, маленькие ветряные мельницы и героновы фонтаны.[30]

Катрфею и Сен-Сильвену часто приходилось слышать на деревне: «Счастлив, как Муск». Эта поговорка поразила их; однажды, проходя под большим платаном, они увидели Муска: он забавлялся с молодым мопсом и казался таким же довольным, как и собака. Им вздумалось спросить его, счастлив ли он.

Муск не смог им ответить, так как никогда не размышлял о счастье. Они в самых общих чертах и самым простым языком объяснили ему, что оно собой представляет. И тогда, немного подумав, Муск ответил, что счастлив.

Тут Сен-Сильвен бурно воскликнул:

– Муск, мы тебе предоставим все, что тебе вздумается – золото, дворец, новые сапоги, все, что ты захочешь, – дай нам свою рубашку.

На добродушном лице Муска отразилось не сожаление и не разочарование – чувства эти были ему недоступны, – а великое изумление. Он без слов показал, что не может предоставить просимого. У него не было рубашки.

Сноски

1

Госпожа де ла Пуль. – Пуль по-французски значит курица.

2

Носологически – то есть в свете носологии, раздела медицины, посвященного систематизации болезней.

3

Протей (греч. миф.) – морской бог, старец, постоянно меняющий свое обличье.

4

Нервнобольным любовь вредна (лат.).

5

...выражаетесь языком босяка Жан-Жака. – Имеется в виду французский революционный писатель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо (1712-1778), который обличал пороки высших классов, отвергал цивилизацию и утверждал, что счастье – в возвращении человека к «естественному состоянию», к природе.

6

...времен Марии-Антуанетты... – то есть конца XVIII в.; Мария-Антуанетта – французская королева, жена Людовика XVI, была гильотинирована во время первой буржуазной революции.

7

...героем, исключительно неудачливым по части рубашек... – Согласно греческому мифу герой Гераклес, проданный однажды в рабство, попал к лидийской царице Омфале и был так очарован ее красотой, что отказался от воинских подвигов, сложил у ее ног свою дубину и львиную шкуру, облекся в женские одежды и стал прясть шерсть в кругу рабынь. В другом эпизоде жена Гераклеса Деянира, желая усилить любовь своего мужа, послала ему в качестве приворотного средства одежду убитого им кентавра Несса, что послужило причиной смерти героя.

8

...такую же игру, какую вел Мирабо. – Оноре-Габриель Рикетти граф де Мирабо (1749-1791) – деятель французской буржуазной революции конца XVIII в.; напуганный размахом народного движения, тайно перешел на сторону короля Людовика XVI и стал платным агентом двора.

9

Кибела (греч. миф.) – богиня, олицетворявшая природу.

10

Augurium или avigurium (лат.) – гадание по полету птиц.

11

«Счастливец никого до смерти не зовите». – В трагедии «Царь Эдип» великого древнегреческого поэта Софокла (V в. до н. э.) Эдип в расцвете жизни и благополучия узнает, что является отцеубийцей и кровосмесителем.

12

Беллона (рим. миф.) – богиня войны.

13

Маршал Саксонский – граф Мориц Саксонский (1696-1750), полководец и военный писатель. Принимал участие в войне Петра I против шведов, потом был на службе у Франции и отличился в войне за австрийское наследство.

14

Борисфен – древнегреческое название Днепра.

15

Алута – приток Дуная.

16

Победа увенчала Цезаря и Наполеона. Но Вольмар превыше их обоих – он венчает самое Победу (лат.).

17

...Праксителева резца... – Пракситель (IV в. до н. э.) – выдающийся древнегреческий скульптор.

18

Г-жа де Помпадур – Жанна-Антуанетта Пуассон (1721-1764), могущественная фаворитка французского короля Людовика XV.

19

...клады Гильдесгейма и Боско-Реале. – Поблизости от немецкого города Гильдесгейма и близ итальянского города Боско-Реале у подножья Везувия было найдено много античной утвари.

20

Энгр Жан-Огюст-Доминик (1780-1867) – выдающийся французский живописец.

21

...янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль. – Янсенизм – течение внутри католической церкви, направленное против папства. Французский философ, физик и математик Блез Паскаль (1623-1662) был сторонником янсенизма и всю жизнь метался между наукой и религией.

22

Андре Шенье (1762-1794) – французский поэт, восторженный поклонник классической древности.

23

Франсуа Вийон (XV в.) – крупнейший французский поэт позднего средневековья, связанный с

народными низами.

24

Монтень Мишель (1533-1592) – французский писатель-гуманист, автор книги «Опыты», пронизанной философией скептицизма. Последние годы жизни Монтеня были омрачены тяжелой болезнью, о которой упоминает А. Франс.

25

...подобно Антонию и Клеопатре, растворивших в поцелуях целое царство... – Древнеримский полководец и государственный деятель Марк Антоний (83-30 гг. до н. э.), один из трех правителей Рима (триумвиров) после убийства Цезаря, сблизился с египетской царицей Клеопатрой и приносил государственные интересы в жертву своему любовному увлечению.

26

...украшенных слезами Андромах, Артемид, Магдалин и Элоиз. – Андромаха (греч. миф.) – супруга троянского героя Гектора, пережившая смерть мужа, гибель родного города и попавшая в рабство к грекам. Магдалина (христ. миф.) – раскаявшаяся блудница, обращенная в христианство Иисусом Христом. Элоиза – подруга средневекового французского философа Пьера Абеляра (XI-XII вв.), разлученного с ней.

27

...Адриенны Лекуврер в роли Корнелии... – Адриенна Лекуврер (1692-1730) – знаменитая французская актриса, героиня одноимённой пьесы Э. Скриба и оперы Ф. Чилеа «Адриана Лекуврёр». Корнелия – жена римского полководца Помпея (I в. до н. э.); после сражения при Филиппах (42 г. до н. э.), где Помпей был разбит своим соперником Октавианом, последовала за мужем в Египет и была свидетельницей его убийства; героиня трагедии Корнеля «Помпей» (1641).

28

Шапочка дожа – головной убор, какой носили выборные правители купеческих республик Венеции и Генуи в средние века.

Клод Лоррен (1600 – 1682), Пуссен Никола (1594-1665) – выдающиеся французские живописцы, создатели особого жанра пейзажей-картин, характерных для французского классицизма.

Героновы фонтаны – игрушечные фонтанчики, устроенные по модели, созданной древнегреческим (александрийским) механиком и математиком Героном, жившим как предполагают, в I в. до н. э.